

Погружения

Погружение первое. 57

Глава 1. Мнеморий

Сидит, тонко подрагивает прозрачными крылышками. Поднялась с края скамейки, медленно пролетела почти перед носом с еле слышным шуршанием. Красивая. Можно схватить рукой, сжать в кулаке, как в детстве, чтобы дрожащие крылья изнутри щекотали ладонь.

Было же когда-то такое или не было? Видимо, было: руки-то помнят, руки не какой-нибудь семидесятисемилетний мозг, чтобы не помнить то, как оно, пролетевшее рядом, называется. Это вот самое — красивое, шуршащее, с прозрачными крыльями. Ну, как её там? Или его? Нет, точно её... Вспомнил — стрекозу. Стрекоза — значит, она. Всё просто. Ну как, просто? Непросто, но что уж теперь...

Тем жарким чёрным летом этих стрекоз под Дзержинском было, что дронов над головой. И стрёкот у них немножко похожий. Ничего эти стрекозы не боялись, летали, как маленькие безобидные вертолёты по своим стрекозым делам, никак с делами человеческими не пересекающимися. Да и были ли тогдашние наши дела человечьими, людскими? Не факт...

Надо бы внимательно потом посмотреть, поискать там в себе ощущение, не забыть записать — это важно. Уж не знаю почему, но важно. Наверное, чтобы нас понимали, меня понимали. Потому что понять — значит, простить: есть такая расхожая банальность. Если сам себя не понимаешь, пусть поймут другие — они тебе всё объяснят, успокоят, ободрят. Для того и живём, чтобы оправдаться за прошлое, таков стариковский удел.

А ведь есть же те, кому не в чем оправдываться? Как не быть, должны существовать такие счастливые люди, только я их не знаю. Здесь каждый в чём-то по-своему виноват, каждому судьба вынесла приговор: богадельня. Как красиво не называй этот последний стариковский приют — дом ветеранов, пансионат, геронтологический центр — суть одна.

Но слово неприличное, попробуй спросить хоть вот у этой милой девушки в коротком фирменном халатике: «Яночка, что нового в нашей богадельне?» Обидится ведь. Или не обидится? Сейчас проверим.

— Что, Пётр Вадимович, хорошо сегодня на солнышке? — издали весело интересуется симпатичная сиделка. — Ясное какое утро, ласковое.

Опредишь их, как же.

— Хорошо, Яночка, — и как тут не добавить дежурную шутку. — Сама бы лучше приласкала.

Персонал всегда должен улыбаться, создавать пациентам-постояльцам ровное хорошее настроение:

— Обязательно, Пётр Вадимович, обязательно. При первой же свободной минутке... В холле Лев Евгеньевич шахматы расставил, партнёров ищет. Не хотите компанию ему составить?

Не хочу, потому что Лёва не в шахматы играет, а рассказывает вечную историю, как он брал интервью у различных известных людей, и какие они все

оказывались мелкими, ничтожными личностями. Но при этом умудряется всегда выигрывать. А как тут у него выиграешь, если он балаболит, не умолкая? — Нет, Яночка, я в мнеморий впервые пойду после завтрака.

— Уважаю, удачи, — сиделка весело встряхивает крашеной белой чёлкой, выбившейся из-под форменной пилотки, поддёргивает уставную нарукавную повязку сине-красного государственного колера и удаляется в сторону административного корпуса.

Красиво удаляется: ноги длинные, точёные, над ногами два упругих полушария, обтянутых сиреневым халатиком. Потрогать бы их, провести ладонью по этой податливой упругости, сжать, запустить пальцы под халат... Руки-то, понятно, помнят, а что толку от этой бессмысленной памяти? Нет, память должна быть осмысленной, полезной, содержательной.

Действительно, погрелся на солнышке — пора и за дело.

Встаю, преодолевая привычный лёгкий хруст тазобедренных суставов, телепаюсь потихоньку в мнеморий. Мимо ресепшена, где сегодня дежурит деловитая администратор Алла Сергеевна, мимо открытой двери кабинета директора Ивана Кирилловича, который с обычной громогласностью ведёт вечный спор с очередным чиновником департамента соцобеспечения. Вот и лестница на второй этаж. Тут нужно отдохнуть на банкетке рядом с аквариумом, где валяжно машут хвостами красные рыбы-телескопы, собраться с силами. Лифт на ремонте уже третью неделю — совсем мышей не ловят эти молодые реформаторы из соцобеса. Вот и оставляй страну на эту современную молодёжь.

Иван Кириллович выскочил из кабинета с красным от негодования лицом, блеснул золотым значком «Отличника партийного строительства» на лацкане белоснежного халата, буркнул: «Утро доброе, Пётр Вадимович». Поспешил доводить до администратора очередные руководящие указания департамента. Очень хорошо его понимаю, очень.

Но пора вставать и идти дальше. Без трости-то теперь и не встать, вот она старость-то. А очередь на тазобедренные импланты ох как медленно движется: обещают операцию через восемнадцать месяцев. Доживу ли, нет? Но всё же без коляски пока обхожусь, своими ногами. Уж какие есть, а свои. Вот теперь их двигать надо... Куда надо-то? Куда я шёл? В туалет? Так он в другом крыле. В столовую? Нет, до обеда ещё три часа. Голова моя дырявая, дырявая моя голова...

— Давайте вместе пойдём, Пётр Вадимович, — рука сиделки Яны ласково берёт меня под руку, ведёт к лестнице.

— Спасибо, Яночка, — отвечаю, привычно ожидая случайной подсказки, куда мне нужно идти, куда я хотел идти, хотел, но забыл.

— Вот и поднялись с божьей помощью, — в холле второго этажа сиделка улыбается, как родная. — До мнемория провожать уже не буду, мне к старшей сестре, — наклоняется к уху, сообщает заговорщически, — на выволочку за внешний вид.

Яна лихо подмигивает, смотрится в зеркало, поворачивает нарукавную повязку гербом строго по центру плеча и удаляется по коридору, где вдали у окна кабинет старшей медсестры, а в противоположном конце коридора налево библиотека, а направо мнеморий. Мне как раз туда, я помню, помню.

Мнеморий наверняка пуст, как этот, ну как его... Ладно, неважно. Он всегда пуст — редко кто из здешних обитателей выполняет рекомендацию минздрава,

определившую систематическое погружение в индуцированные воспоминания средством снижения прогрессии старческого маразма. Или сенильной деменции, болезни Альцгеймера — если вам угодно использовать умную медицинскую терминологию. Мне неуютно: маразм он и есть маразм, как его ни назови.

Топильский любит умничать: «рассеянный склероз», «прогрессирующая амнезия», «корковая дегенерация». Так он из бывших журналистов, что с него взять?

Лёва поначалу заглядывал в мнеморий чисто из профессионального любопытства ко всяким техническим новинкам, до которых гораздо человечество в наш просвещённый век. Но потом бросил, надоело. Говорит, что шахматы и только шахматы не позволяют мозгу расслабиться, скатиться в вечный полусон. Сидит с утра до вечера над шахматной доской, этюды сам с собой разыгрывает. А играть с ним дураков нет, я последний остался. И не потому, что играет Лев Евгеньевич сильно, а потому, что несдержан в эмоциях, болтлив, как первоклассник, агрессивен. Что ж, у каждого свой маразм, своя симптоматика. Пусть его.

Пять лежбищ в мнемориуме. Это не кровати, это такие расслабляющие тело полугоризонтальные конструкции с лёгким массирующим эффектом. Как-то специфически называются — я сразу решил не запоминать: пусть будут лежбища, и Клепсидра Матвеевна не возражает, тоже приняла это обозначение в прошлый мой сюда ознакомительный визит — приглядеться что тут и как, чтобы потом как-нибудь, собравшись с духом, начать мнемоническое лечение. Что-то долго её нет, хранительницы нашего времени и по совместительству заведующей соляной пещерой в цокольном этаже. Там внизу, собственно, дел на пять минут: записать в журнал страждущих оздоровиться, включить таймер с медитативной музыкой — и можно обратно подниматься. Здесь у Клепсидры основной пост. И не потому, что пациентов больше, — их-то как раз, наоборот, — но оборудование в мнемории новое, китайское, дорогущее и, судя по всему, за ним догляд важнее, чем за пещерой.

Там в стенах соль отечественная целебная (из прибайкальских копеек, говорят), потолок в святоросский красно-синий двуколор разукрашен — и захочешь, так поломать там нечего. В мнемории же техника строгая, обстоятельная, на лежбище без разрешения ни-ни, и мнемонаушники в настенный шкафчик уложены, под замком хранятся. А дверь в кабинет закрыта: надолго, видать, Клепсидра отлучилась.

Подождём, торопиться мне теперь некуда. Вот, фикус можно потрогать, приятный на ощупь. Картину на стене поизучать, «Проздр Константин Строгов слушает члена Верховного Синклита Софрона Хамзатова» называется. Лицо у Строгова внимательное, озабоченное, а Хамзатов стоит, горячится, руку в сторону отвёл, пальцы растопырил — сразу видно, в большой растерянности Софрон, если не в панике. Но каждому известно, что проздр через минуту примет единственно верное решение, которое не позволит крамольникам захватить ядерный арсенал Святороссии, на том и закончится Большой Мятаж, грозивший стране великой смутой и, прости господи, проклятым либерализмом. Хрестоматия новейшей истории, обязательное чтение. Вбито в память информационной кувалдой, ни в какой деменции не забудешь...

А вот и Клепсидра торопится открывать мнеморий, на ходу ключи перебирая. Переваливает с ноги на ногу своё короткое круглое тело, улыбается извинительно сквозь одышку.

— Не сердчайте, Пётр Вадимович, — пропустила вперёд в дверях, усадила в приёмное кресло, бросила на стол мокрую от пота пилотку. — Машина с памперсами пришла, так Сергеевна меня с Людкой из столовой отрядила её разгружать, нашла молодух. А что поделаешь — Витьку с Семёнычем директор отправил в город на силовую профсоюзную спартакиаду. Дело нужное, конечно, воспитательное, а машину разгружать некому... Уф-ф, умаялась. — Ничего, Матвеевна, посиди, отдышись, мне спешка теперь без надобности. Такой, значит, будет теперь наш утренний ритуал с Клепсидрой, которую зовут, конечно, как-то по-другому, но какая, в сущности, разница? Дело не в именах, а во взаимной уважительности: нельзя же просто так молча плюхнуться на лежбище и получить мнемоническую услугу за государственный счёт. Некрасиво это как-то, не по-людски. Текущую жизнь надо бы обсудить, новость какую-нибудь — не одними казёнными услугами жив человек, ему внимание нужно, обходительность.

— Слышали, маскианцы опять космофлот пробили? — понизив голос, наклоняется ко мне хранительница нашей памяти.

— Ну-ка, ну-ка? — изображаю я заинтересованность.

Новости такого рода давно уже стали обычным фоном большого мира за высоким забором нашей районной геронтологии, как она там называется? «Надежда»? «Доверие»? Да, «Мечта», вспомнил. А ведь были мечты когда-то, были. Да хоть о том же космосе, куда переместился нынешний конфликт между традиционалистами и прогрессистами.

После окончания кровавой десятилетней Сепарации мир успокоился во вновь обретенных условных границах. На Большом Западе победили новые консерваторы, в наших северо-восточных пределах власть успокоилась на Верховном Синклите, Китай окончательно утвердился в своём суверенном партийном коммунизме, а Объединённый Юг сплотился под флагом правящей Корпорации Памяти предков.

Остались экономические, религиозные, этнические противоречия, но все они оказались несмертельными, если решения принимают сильные лидеры, а не вялые парламентские институты. «Мир догадался, наконец, вынести на помойку мусорное ведро лживой демократии», — как сказал тогда проэдр Константин Строгов.

Что ж, лучше поздно, чем никогда — уж мы-то в нынешней Святороссии понимаем это больше, чем кто-либо другой после той давней эпохальной битвы за сакральную Малороссию, которую ныне представляет в Верховном Синклите знаменитый одесский партизан Григорий Величко.

И только баламуты из Австралийской республики святого Маска, всосавшие в свою нелепую Конфедерацию Оси (Филиппины, Индонезия, Австралия) все эти отбросы из интеллектуальных хиппи разной национальной принадлежности, отказались принимать новый мировой порядок и теперь регулярно прорывают рубежи объединённого космофлота своими шаттлами, набитыми лунными колонистами.

Они, видите ли, решили строить свободное общество селенитов подальше от матушки-Земли. Вывозят, планетарные предатели, человеческий ресурс в лунные поселения, на Новый Дикий Запад. Но ничего, Проэдр Строгов вместе с

Председателем Ляном, Верховным президентом Максвеллом и Великим вождём Нкомо уже приняли Третью совместную резолюцию Объединённых патриотов Земли о выделении дополнительного финансирования Фонду рубежного космофлота. Скоро ни один перевозчик этих беженцев-эмигрантов не сможет выйти за пределы земного притяжения. А то взяли себе моду.

— Три тыщи человек на двух шаттлах умыкнули, паразиты, — сокрушённо завершает изложение утренних новостей Клепсидра Матвеевна. — Бога они не боятся, маскианцы эти.

— Предатели земной колыбели, известное дело, — подтверждаю справедливость Клепсидриных слов официальным государственным определением. — Ничего, всех не вывезут, проживём ещё на родной планетематушке, поплодимся, вырастим новое поколение патриотов. Не впервой.

— И то верно, Пётр Вадимович, — соглашается Матвеевна, уже доставая из шкафчика мнемонаушники. — Сколь человечество не убивай, оно только сильнее становится... Пошли, что ли, погружаться пробовать?

На лежбище Клепсидра помогает мне снять тапочки, регулирует положение матраца, нажимает кнопку опускания жалюзи.

— Удобно ли, хороший мой?

Комфортно, ничего не скажешь: придумали же люди такое... как его? Неважно, такое вот — и всё тут. Киваю: нормально, не переживай.

Клепсидра вручает мне наушники, спрашивает главное:

— Куда для начала поедем?

— В тридцатые, — дело ещё за завтраком мною решённое.

— Ох, лихое время было, — сочувственно вздыхает Клепсидра.

Переворачивает на тумбочке большую колбу песчаных часов, задёргивает боковую шторку, закрывающую от соседнего лежбища, уходит, чтобы включить на мнемостимуляторе означенный период и записать его в журнал.

Мнеморий, как Матвеевна мне в прошлый раз объяснила, позволяет лишь прошлыми десятилетиями мыслить — выбираешь, скажем, как я сейчас, период с 1 января 2030 года по 31 декабря 2040-го, а там уж мнемостимулятор сам решит, какой день твоей личной истории тебе предъявить в самом что ни на есть полноформатном качестве. Может иногда и повторно в то же десятилетие закинуть, а иногда и в третий раз бывает — но это совсем уж исключительные случаи, про такие отдельно Клепсидре на курсах обучения мнемонической технике рассказывали. В общем, всё для счастливого пациента богадельни середины двадцать первого века, только погружайся, не ленись.

На стене перед глазами висит большой электронный календарь, отсчитывающий текущее время бытия: 2050-й год, 7 августа, 9 часов, 31 минута, 40 секунд, 41 секунда, 42 секунды, 43 секунды, 44 секунды...

Глава 2. «Вырасту солдатиком»

Стойка бара. Накурено. Гремит ретро-музыка: «Ну-ка, мечи стаканы на стол, ну-ка, мечи стаканы на стол, ну-ка, мечи стаканы на стол и прочую посуду!» Публика поёт, стучит кулаками в такт по барной стойке. Выпив аю шот, ставлю пустую рюмку обратно на картонный кружок, нахожу взглядом бармена, стучу пальцем сверху по краю рюмки: повторить. Тот

кивает, наливает до краёв. Рядом курносая девица с распущенными по плечам светлыми волосами громко и весело подпевает динамикам: «Все говорят, что пить нельзя, – я говорю, что буду!» Трогаю её за плечо, спрашиваю: «Где Витя? Витьку потерял. Ты не видела?» Она смотрит удивлённо, потом брезгливо отодвигается: «What do you need, old man?» Оборачиваюсь, спрашиваю бармена: «Она что, американка?» Тот не понимает: «What? Are you Russian or what?» И резко замолкает музыка, и все в баре смотрят на меня с презрительным подозрением. И ужасное чувство публичной неловкости заставляет повторить: «Витьку никто здесь не видел?» И звенит резкий звонок: бармен с размаху бьёт ладонью по большой кнопке тревожного вызова. И ещё раз, и ещё. Из-за ближайшего столика встают трое крепких молодых парней, идут ко мне...

Открываю глаза. Часы показывают 7.30. В коридоре надывается дверной звонок.

– Привет, спишь ещё? – ответ Берте не нужен, она уже стягивает с Серёжи маленький детский рюкзачок, снимает ярко-красный комбинезон. – Всё, иди к бабушке.

– Здравствуй, деда! – внук позволяет на секунду поднять его в воздух, обнять, выворачивается, спешит к журнальному столику, где его ждёт любимая деревянная шкатулка со всякими завлекательными бабушкиным и разностями.

– Мама сегодня возвращается? – Берта что-то сердито ищет в сумочке, сдувая с глаз чёрную короткую чёлку.

– Днём самолёт прилетает. Вот приглашалки, держи.

— Спасибо. Ладно, я побежала, вернусь через час. Серёжа, обними маму. Серёжка подбегает к Берте, тычется носом в подставленную щёку, хвастается надетыми на шею бабушкиными бусами:

– Я – Егор-богатырь, у меня волшебная цепь!

– Егор-Егор, конечно, – соглашается дочь, открывая дверь. – Он позавтракал, и никаких конфет, прошу. Всё, скоро буду.

Закрываем дверь за Бертой, Сержик хватает длинную ложку для обуви:

– Вот мой богатырский меч! Давай сражаться: я – Егор, а ты будешь разбойник Митч.

Митч теперь какой-то. Ладно, разбойник так разбойник. Делаю страшное лицо, протягиваю разбойничьи руки к богатырю. Егор, не будь дурак,

рубит вражеские руки лазерным богатырским мечом, отступает в комнату, спотыкается об уже разбросанные по полу кубики, падает, ревет баком. Всё как всегда.

– Ты же богатырь, Серёжа. Богатыри не плачут.

– Сам ты богаты-ырь!

– Я разбойник Митч, мне можно плакать, а тебе нельзя.

– Почему-у?

– Потому что настоящий русский богатырь никогда не плачет, даже если ему больно. А какой-нибудь дурацкий Митч от любого укола иголкой всегда плачет, как девчонка.

– Давай уколём тебя иголкой, – сразу высыхают слёзы у младого естествоиспытателя. – Посмотрим, как ты плакать будешь.

– Давай. Пошли на кухню.

Достаю зубочистку, протягиваю Егору-богатырю.

– На, как будто это иголка.

– А она острая?

– Попробуй, уколи себя.

– Нет, ты хитренький. Я тебя колоть буду.

– Ну, коли, – протягиваю ладонь.

Сержик неловко берёт зубочистку, колет не сильно, потому что хоть я и разбойник Митч, но всё же и его дедушка. Как в них такой когнитивный диссонанс уживается, вообще не понимаю, но сразу же начинаю корчиться от невыносимых страданий:

– Ой-ой-ой! Не коли меня, Егор, мне больно!

А богатырю только того и надо:

– Вот тебе! Получай! Получай!

Сломалась зубочистка, обида какая. Так недалеко и до следующего рева.

– Ничего, Сержик, не страшно. Ты всё равно победил злого Митча. Кстати, что ещё за Митч? Раньше его не было. Американский разбойник, да?

– Сам ты американский, дедушка. Он из мишесть, из Англии. Это такая разбойничья страна, которая против России кости строит, а Егор с этими разбойниками воюет.

– Не кости строит, а козни. Это когда люди что-то плохое задумывают.

– Козни?

– Да, так правильно.

– Ну, пусть козни. Пошли, ты телевизор включишь, я тебе покажу, как разбойник Митч козни строит.

Идём в большую комнату, включаю телевизор, нахожу вкладку киноприложения, там сразу открываются картинки мультипликационных серий про богатыря Егора.

– Не эта! – возмущается Серёжа. – И не эта! Дай, я сам найду.

– Бери, ищи, – отдаю внуку пульт, они теперь с гаджетами на ты с колыбелю, считай.

И технологии эти ещё, когда каждую неделю новая серия мультфильма выходит. Говорят, что Норштейн своего «Ёжика в тумане» пять, что ли, лет рисовал или даже десять. Надо бы Серёже показать классику советской мультипликации как-нибудь, может, понравится. Не всё же ему современные целлулоидные сказки смотреть. Они, конечно, воспитательные, но прямые, как телеграфный столб, не тонкие. Ладно, пусть подрастёт немножко...

А на экране действительно нарисовано кривое страшное здание с вывеской «МИ-6. Британская разведка». И из него выходит, озираясь по сторонам, джентльмен с сигарой и в чёрных очках, вылитый Джеймс Бонд. Садится в самолёт, парашютируется вниз, где под ним раскрывается огромная красивая страна, на которой написано «Россия». И там на дальней заставе спит на печи Егор-богатырь, на шее его покоится волшебная цепь, а у кровати стоит лазерный меч-кладенец. Вот сейчас и будет дело. Сержик смотрит, аж рот раскрыл.

Устаревшие политические реалии, между прочим, слабо разбираются нынешние кинодеятели в международном политическом процессе. Ну да бог с ними, не наше дело.

Ладно, мне пора умыться, переодеваться из домашнего халата в костюм, пока Егор козни мишень разоблачает. Берта в районном приглашительном салоне надолго не задержится, там с утра очереди почти нет – всё ж таки, премиального класса талонная, не для рядовых граждан. В обычных приглашительных нужно с вечера записываться в электронную

очередь, потом ещё с утра часа четыре прстоишь, пока допустят до окна выдачи. И это если у тебя только продуктовая приглашалка, а если ещё и промтоварная – так хорошо, если к вечеру управишься.

Когда-то совсем давно – я ещё пацаном был, но помню хорошо – вместе с нынешними пригласительными были талоны. И отец радовался, когда удавалось по ним купить сигареты и водку, а мама приносила домой мыло, стиральный порошок и сахар. Эпоха знаменитого советского дефицита, о которой сейчас полно прикладных воспоминаний современных экономистов, половина из которых тогда ещё вообще не родилась. Но так-то понятно, что живём мы в совершенно другой социально-экономической эпохе: государственный капитализм – осознанный выбор страны на современном этапе. Страны, пережившей, переросшей и коммунистическую утопию, и либеральный свободный рынок.

Новая экономическая теория гласит, что Советском Союзе всё было хорошо, кроме категорической нехватки товаров народного потребления, а в постсоветской России всё было плохо, кроме широкого потребительского ассортимента. И только сейчас жизнь начинает наконец-то налаживаться, потому что государство проявило настоящую заботу как о производителях, так и о потребителях: все встроены в одну кровеносную систему замкнутого цикла, где учтены текущие нужды общества – от разведывательных дронов до краковской колбасы.

Впрочем, краковская справедливо переименована в коломенскую, и не входит в широкий список товаров общего доступа. Ну так, пригласительные салоны работают шесть дней в неделю, каждый может приобрести там полтора килограмма коломенской колбасы в месяц. А в талонных премиум-класса – и все три, и не только коломенской.

Понятно, что приглашалки в такие салоны на улицах не раздаются, так и мы не при коммунизме живём, а в современном госкапитализме, где равенства никакого никому не положено. Авторитет у государства вместе со спецприглашениями нужно ещё заработать-заслужить. А если всякие диссиденты злопыхательствуют, что Россия, сделав круг, вернулась к советской распределительной системе, так их выпады внеисторичны, как объясняет нам коллегия информации: после любой военной победы на геополитическом фронте страна проходит этап большого восста

новления экономики. Даже при Сталине-вожде после Великой Отечественной был дефицит, и были талоны, а сейчас нам после освобождения Малороссии сам Бог велел перетерпеть временные трудности. Вот, перетпеваем как можем.

Понятно, что возможности у всех разные. Скажем, молодые художники, такие как Берта и Фёдор, менее важны государству, чем мы с Эльвирой, потому они прикреплены к пригласительному салону третьей категории. Но у них ещё всё впереди: добьются своих персональных выставок на межрегиональном уровне – перейдут во вторую категорию. А как окончательно окрепнут, заматереют, получают высшую государственную квалификацию – тут тебе и перекрепление к районной талонной, а там, глядишь, и до городской недалеко.

Хотя, конечно, для Фёдора такая перспектива весьма сомнительна – аж сердце за Берточку по ночам сжимается, как вспомнишь про мужа дочери. Ну да ничего, у неё с Серёжей, слава богу, есть дедушка с бабушкой, пусть пользуются нашими приглашалками, нам с Эльвирой много не нужно, если не сказать, вообще ничего. Берта вернётся уже скоро после отоварки родительскими талонами, будет радость в семье дочери. Пусть пользуются, пока мы живы, а потом уж сами как-нибудь справятся: государство поможет, у нас своих не бросают.

Звонок от Эльвиры: она уже в Домодедово, прилетит вовремя, просит пригласить Берту с Фёдором сегодня на обед. То, что у меня тоже работа, в расчёт не принимается: «Придумаешь что-нибудь, на то ты и руководитель. Всё, до встречи». До встречи так до встречи, с Элей спорить себе дороже. Но на службу надо бы поспешить, сегодняшний план никто за меня не выполнит, а после семейного обеда нужно будет в Трибунал торопиться – общественный долг никто не отменял, а он, пожалуй, посерьёзней будет, чем долг служебный, поответственной. Так что завтра придётся навёрстывать упущенное, чтобы по итогу месяца не выйти за нижнюю границу плановых показателей департамента...

Всё, зубы почищены, в костюме обрядился, теперь только Берту дожидаться. Сержику надоел мультик про богатыря Егора, он теперь ходит по комнате строевым шагом, песню поёт:

– Мы к войне готовые

всем нашим детским садиком.

Возьмём винтовки новые,

вырасту солдатиком.

Эх, вырасту солдатико-ом!

Вырастешь, Серёжа, обязательно вырастешь солдатиком. Стране без солдатиков

никак нельзя, кто же нас оборонит в следующую войну? Мы уже старенькие с

бабушкой – вот вам с папой и придётся Родину защищать и нас вместе с мамой

твоей.

– И папа солдатиком станет?

– Обязательно, Сержик, обязательно.

Вот в ком я не уверен, так это в папе Серёжкином. Из него солдатик, как из певца Шамана – Майк Тайсон. Да кто сейчас помнит громилу Тайсона? Уж не Фёдор точно, хоть он и западный либерал, по его собственному определению. Смелые все такие стали: ещё лет пять назад за такие слова поехал бы Федя рукавицы шить куда-нибудь далеко на север, а сейчас ничего, можно. Разрядка у нас ныне, значит, новый период дружбы с Америкой потихоньку намечается. Там, правда, сами теперь своих демократов с фонарями ищут, чтобы подвергнуть публичной присяге американским ценностям, а тех, кто откажется, в правах поражают. Но кто его знает, как всё через год-другой обернётся. Всё ж таки, англосаксы всегда были историческими противниками России, нет у меня веры в окончательное наше с ними замирение, подвох тут какой-то, козни очередные. Или кости, как Серёжа говорит...

Да где же Берта, в конце-то концов? А внук хорошо марширует, красиво. Умеют пятилеток в детском саду воспитать в правильном ключе. И песня-то настоящая, строевая:

– Выучу грамматику

вместе с математикой,

чтобы стать защитником.

Вырасту солдатиком.

Эх, вырасту солдатико-ом!

– Солдатик, стой! Раз-два!

Замер солдатик, как вкопанный. Толково их в садике муштруют, понимает.

– Нале-во! Бегом к деду на диван!

Прибежал, хохочет.

– Дедушка, а ты воевал когда-нибудь? Ну хоть один разочек?

– Воевал, Сержик. Довелось немножко повоевать.

– С бандеровцами?

– С ними, дружок, с ними.

– Ты, деда, настоящий герой. Я тебя люблю.

– И я тебя люблю.

Звенит дверной звонок. Вместе с Серёжей встречаем маму, нагруженную пакетами со снедью. Объявляю дочери последние новости:

– Бабушка звонила, милости просит вас с Федей на обед к трём часам.

Берта на секунду задумывается, потом решительно снимает с себя куртку.

– Тогда детский садик отменяется, – наклоняется к сыну. – Ты рад, Серёжа?

Ещё бы он не рад.

– А куда мы вместо садика пойдём?

– Никуда не пойдём, здесь будем бабушку ждать. Папе позвоним, он тоже сюда придёт. Иди, играй.

Берта уже надела тапочки, спрашивает у меня:

– Случилось что?

– Не знаю. У нас же бабушка загадочная вся такая. Просто объявила большой семейный сбор. У неё не забалуешь.

– Я знаю, – вздыхает дочь.

– Ты же в мастерскую собиралась с утра.

– Ерунда. Здесь поработаю с набросками. А то туда полчаса на трамвае, назад столько же, да ещё Серёжку в садик отвести. Лучше мы вас тут пождём.

– Хорошо. Феде позвони, чтобы к трём часам приезжал. Как он?

Берта раздражённо отмахивается:

– Как обычно. Ладно, иди. У подъезда водитель уже, кажется, половину урны бычками заполнил, тебя ожидаючи.

– Работа у него такая. Солдатик, я пошёл!

Сержик выглядывает из комнаты в коридор, машет рукой:

– Пока, дедушка, пока-пока!

Николай действительно дымит у машины. Подскочил к урне, выбросил недокуренную сигарету, открыл заднюю дверцу «джили»:

– Доброе утро, Пётр Вадимович. В департамент?

– В него, в родимого. И так на час, считай, задержались.

– Ничего, мы мигом.

Салон служебного китайского кроссовера комфортно прогрет, за окном мелькают тускнеющие в позднем зимнем утре рекламные вывески. В голове звучит весёлым эхом: «Вырасту солдатиком. Эх, вырасту солдатико-ом!» Пробки уже почти рассосались, днём Эльвира вообще свободно из аэропорта домой доберётся.

Зачем ей срочно семейный обед понадобился? Не затем же, чтобы поделиться последними кулуарными новостями с внеочередного съезда правящей партии, делегатом которой она была избрана от региональных творческих союзов в качестве главного редактора «Вечернего Зареченска». Тем более делиться этими новостями с мужем дочери.

Прямо вижу, как Фёдор морщится, демонстративно наливает себе рюмку и интересуется: «Как там, не выбрала «Единая Святотороссия» себе на съезде могильщика партии? Зря, сейчас можно похоронить с почестями, почётным караулом и церковным отпеванием. Потом поздно будет». И немедленно выпьет.

Самый талантливый на Бертином курсе, самый молодой график с членством зареченского Союза художников. Эльвира тогда ещё не была главным редактором «Вечёрки», и по долгу службы в качестве заведующей культуры много писала о большом таланте Фёдора Стока, тем более что и у дочери только и разговоров о нём было: «Федя тонкий мастер», «Федя самый смелый», «Федя гениальный». Так и поженились.

Ну и сразу после рождения Серёжи сел наш Фёдор на стакан, как это у гениев водится, и никак с него не слезет – ни через уговоры, ни через на

ркологию. Пил бы себе молча – и хрен бы с ним, так он ведь изволит едва ли не открыто диссидентствовать по пьяни, разговоры всякие разговаривать с кем ни попадя. Дважды уже генерал Семёнов намекал, что входит в моё положение, но у него тоже своё начальство есть, против которого пойти не сможет, если прикажут принять меры в отношении не в меру ретивого государственного художника третьего ранга Фёдора Стока. Это хорошо, что его супруга активная общественница, отрядный звеньевой «Юной державы», это уже в зачёт идёт, но терпение органов, увы, не бесконечно. «Не все грехи можно списать на молодость, ты же понимаешь меня, Пётр Вадимович?» Понимаю, как не понять. Эх, детки, детки...

Хорошо, Серёжка не в папу пошёл. Вон как звонко песни строевые распевает: «Вырасту солдатиком. Эх, вырасту солдатико-ом!» Чёрт, привязалась же, не отвяжешь...

Приехали.

– До половины третьего свободен, Николай. Потом домой поедет, а к вечеру – в Трибунал.

– План ясен, Пётр Вадимович, понял.

Хороший парень этот Николай: вырос солдатиком, таким и проживёт всю жизнь. Похожего бы на него Берте в мужья, а не гения этого нашего с опливого. Но кто ж знал.

Глава 3. Вредитель Пастернак

Прохожу в кабинет, за мной сразу втискивается Елфимов. Промакивает платком взмокшую лысину: умаялся на хозяйстве, да и жарко в департаменте, топят нынешней зимой как не в себя. Но весёлый, в настроении.

– Моё почтение, начальник-батюшка! Во вверенном мне подразделении за время вашего отсутствия серьёзных приключений не произошло!

– А несерьёзных? – что-то подозрительное наблюдаю в излишней веселости своего заместителя, не к добру это.

– Из несерьёзных только это, – протягивает распечатку с сайта «Дойче велле». – Вечерняя публикация, размещена в 21.47 по общеевропейскому времени.

Сразу нехорошо заломило в затылке: редко Зареченск попадает в большие западные СМИ, каждый случай требует быстрого анализа и конкретных рекомендаций в центр принятия решений, а я на целый час с утра выпал из повестки. Но если бы действительно что-то серьёзное произошло, Евгений Глебович позвонил бы, не пустил дело на самотёк. Вероятно, совсем не критичный случай, но нужно самому вникнуть – ответ мне держать, больше никому.

– Рекомендацию к реагированию подготовили?

– Конечно, – Елфимов достаёт из папки ещё один документ, кладёт на стол.

– Кто готовил?

– Глоцкий.

– Хорошо, Евгений Глебович, дай мне полчаса в суть вникнуть. Занимайся текущей сводкой, я позже подключусь.

Так чем же мы там отличились в глазах «Немецкой волны»? Заголовок новости: «В Зареченске ветеран СВО сжёг книги иноагентов». И всё? Господи, докопались до мышей, до новости позавчерашнего дня. Или там как-то глубже копнули?

«Как сообщает наш источник, 42-летний ветеран российско-украинского вооружённого конфликта Владимир Алфёров обнаружил дома книги Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Людмилы Улицкой, после чего вынес их во двор и устроил публичное сожжение «иноагентской литературы». Приглашённые на патриотическое мероприятие товарищи Алфёрова, такие же ветераны недавней войны, демонстративно пожарили шашлык из свинины на мангале, где происходило книжное аутодафе с гастрономическим привкусом. Событие сопровождалось антисемитскими высказываниями в адрес писателей новой эмиграции.

Осуждённая к пожизненной изоляции литература хранилась на антресолях, куда была убрана бывшей супругой Алфёрова и обнаружилась его новой сожительницей в ходе генеральной уборки квартиры».

Источник у них, ага. Стырил этот источник открытую информацию с сайта «Вечернего Зареченска». Положим, «Вечёрка» ничего про бытовой антисемитизм своим читателям не сообщала, хотя Эльвира рассказывала, что евреям от этого самого Алфёрова сотоварищи был предъявлен в

есь комплект: от крови христианских младенцев до Троцкого и угнетённого народа Палестины. Ну так русский человек в стадии алкогольного излишества всенепременно евреев помянет отнюдь не добрым и ласковым словом. А там такого излишества было, понятно, с горкой. Тоже мне новость.

Ладно, теперь проект реакции на публикацию. Правильно Евгений его Глоцкому поручил – тот молодой да ранний, три года как после университета, а уже государственный сотрудник второго ранга, старший специалист. Посмотрим-посмотрим.

Обязательная вводная «... информация подана в негативном аспекте, противопоставляющем наши духовные ценности...», это пропустим, теперь к сути. «Публикация «Дойче Велле» не представляет угрозы общественной безопасности, поскольку является рутинным элементом гибридной информационной войны, не выходящим за рамки общего шумового фона. Значимой угрозы духовным ценностям Святороссии не несёт. Рекомендуется оставить публикацию «Немецкой волны» без ответной реакции, дабы не втянуться в воронку эффекта Стрейзанд».

Недоработочка. Не умеют без должного контроля, не справляются. Нажимаю кнопку внутренней связи:

– Зайди ко мне, Евгений Глебович. Вместе с Глоцким.

И минуты не прошло, явились. Глоцкий сияет, как новый мобильник, ждёт начальственного поощрения, а Елфимов понимает ситуацию, глаза отводит от неловкости за подчинённого сотрудника.

– Напортачили мы, Пётр Вадимович? – чем хороший чиновник отличается от дурного бюрократа, так это тем, что всегда играет на опережение.

– Почти, Евгений Глебович, – тон автоматически выбираю строгий, но без акцентированного раздражения. – Вовремя словленная ошибка – уже не ошибка, а очередной плюс к накопленному опыту. Прошу садиться. Потускнел ретивый молодой специалист, в испарину его ударило. А действительно, жарко в присутствии, надо бы позвонить Ермакову в департамент ЖКХ, чтобы хвоста диспетчерам мэрии накрутил за неэкономное теплоснабжение.

– Ошибочная рекомендация? – решается подать голос Глоцкий, уже готовый записать в раскрытый блокнот руководящие указания.

– Не ошибочная, Юра, а недостаточная, – меняю тональность со строгой на рабочую, стимулирующую. – Была бы ошибочная, другой бы у меня был с тобой разговор.

– Виноват, Пётр Вадимович, – сникшая спина сотрудника чуть распрямляется, организм даёт сигнал себе и начальству на собранность и полную готовность свернуть горы в указанном направлении.

– Что мы рекомендуем центру? – не тороплюсь, даю возможность Глоцк ому самому прочувствовать ошибку.

– Оставить без реакции. Неправильно?

– А какая может быть реакция на безвредную публикацию? – удивляюсь странному вопросу. – Именно такая, здесь всё верно.

– Ты записывай, Юра, не ленись, – подсказывает Елфимов.

Правильно себя ведёт Евгений Глебович: теперь вроде бы два мудрых руководителя сообща наставляют провинившегося молодого сотрудника на путь истинный. А сам заместитель директора департамента как бы и ни при чём. Причём-причём, мы эту твою ошибочку, друг мой ситный, пришили в отдельную папочку, даже не сомневайся. Не первый год в передовом отряде бюрократии, правила игры давно выучили, знаем, что и у тебя на меня отдельная папка имеется. Но мои козыри пока сильнее: и ты это знаешь, Евгений Глебович, и я это знаю, и даже Глоцкий про это догадывается. Так что не обессудь:

– Юра-то запишет, а вот с кем он эту рекомендацию согласовывал, тому тоже следовало бы подумать о возможных последствиях совершённой небрежности.

– Я весь внимание, Пётр Вадимович, – Елфимов построжел лицом, придвинул к себе лист бумаги, занёс над ним карандаш.

Вот так-то лучше.

– Сама публикация в недружественном издании не опасна, поскольку легковесна, повод незначительный, реакция на неё нулевая. Но что мы упускаем?

– Что? – вполне себе заинтересованно интересуется Глоцкий (нет, перспективный всё же парень, весь в работе, выйдет из него толк).

И Елфимов правильно держит паузу, ждёт мудрого вердикта руководства.

– «Как. Сообщает. Наш. Источник», – рублю на отдельные слова цитату из «Дойче Велле». – Мы не учли источник.

– Блядь, – допускает полезную в подобных случаях экспрессию Елфимо в. – Ну конечно же, источник. Как я это упустил?

– Со всеми случается, Евгений Глебович, – подпускаю в голос отеческой снисходительности победителя. – Важно не пропустить ошибку на выходе. Мы и не пропустили. Резюмируем: как в окончательном варианте должна звучать наша рекомендация, Юра?

Глоцкий быстро пишет в блокнот, что-то вычёркивает, переписывает. Суетится, молодой ещё. Через минуту зачитывает:

– Рекомендуются оставить публикацию «Немецкой волны» без ответной реакции, но принять меры к установлению личности источника.

– Евгений Глебович?

– Уточняющая правка: «при этом принять исчерпывающие меры к установлению личности источника».

– Согласен, готовьте рекомендацию на подпись, – выражаю голосом усталость, но и удовлетворённость от хорошо сделанной работы. – Спасибо, свободны... Сводной ведомости до сих пор нет. Поторопи там, Евгений Глебович, – нужно завизировать до половины третьего. Потом уеду по делам, а вечером Трибунал, так что будь любезен, поспеши.

Уходят в деловитой озабоченности. В том и заключается секрет успеха хорошего руководителя: держать подчинённых в постоянном тонусе, не допуская срыва рабочего ритма, даже после выволочки за допущенные ошибки. А то русскому человеку только повод дай в многодневный запой уйти – плавали, знаем. Да хоть зятя Фёдора возьми, чего тут далеко ходить. Ох, грехи наши тяжкие...

Тренькнул сигнал внутренней почты: прислали наконец суточную ведомость. Снимаю пиджак, расслабляю узел галстука: самая работа начинается, теперь до обеда из-за компьютера встать будет некогда.

Итак, что день грядущий нам готовит? В смысле, Общая суточная сводка о контроле духовно-нравственной атмосферы в Зареченской области по состоянию на 3 февраля 2030 года.

К трём часам дня завизированный мною документ должен лежать на столе у заместителя губернатора по идеологии. В пять вечера утверждённая сводка попадёт в администрацию Синклита. Завтра утром оттуда вернётся обновлённый ежедневный федеральный рейтинг духовно-нравственной устойчивости регионов, едва ли не важнейший показатель управленческих качеств губернаторов. Вчера мы опустились с тринадцатого места на шестнадцатое – значит, сегодня нужно кровь из носу исправлять положение, на то мы здесь и поставлены.

Формально до сих пор главными критериями считаются экономическая и социальная сводки региональных правительств, но, будем честны, на текущем этапе пригласительного распределения товаров повышенного спроса общие темпы падения областных и краевых экономик вместе с повсеместным ростом глухой социальной напряжённости не являются приоритетным интересом Кремля. По всей стране людям сегодня живётся несладко, и в сортах этой несладкости никто в Синклите разбираться не желает.

Гораздо важнее настроение подведомственного населения, его вера в светлое будущее Святороссии, приверженность государственной идеологии и морали – такой нынче настрой в столице. И сводки с мест по нашему ведомству докладываются президенту, тьфу ты, проэдру Строгову в первоочередном порядке.

Начнём с рутины, с ведомости положительных точек духовного возрождения. Плюсочки, говоря на внутреннем жаргоне.

Главное событие дня – торжественное открытие памятника Владимиру Путину в Северолесском районе. Это однозначно, тут без возражений. Но остаётся вопрос к руководителю района Фатюшину: почему он одним из последних в области сподобился увековечить фигуру главного политического деятеля двадцать первого века в своём Северолесске? Самый отдалённый райцентр области, самый бедный – есть объективные причины, конечно, но на то ты и поставлен на район, чтобы как-то исхитриться, найти средства, разбиться в лепёшку, но обеспечить идеологическое сопровождение политики партии и правительства, а не ссылаться на непреодолимые обстоятельства все два последних года... Ладно, с Фатюшиным пусть его непосредственное губернское начальство разбирает

ся, а у нас сегодня есть жирная плюсовая отметка в ведомости.

Что дальше? Финал городского смотра детсадовской песни и строя «Маленький защитник». Победитель – казачий детский сад «Казачок». Это тоже хорошо: и сам конкурс, и название детского учреждения. В администрации отметят. Исполнитель графы Глоцкий. Пишу ему в чате: «Юра, с какой песней «Казачок» победил на смотре?» Через три секунды отвечает: «Распрягайте, хлопцы, коней». Ну, понятно. Интересно, Серёжин с адик участвовал? Вон как он браво маршировал: «Вырасту солдатиком. Эх, вырасту солдатиком!» Не забыть сегодня у Берты спросить. Не у Фе ди же...

Так, опустить вниз конкурс профессионального мастерства Водоканала, поднять на две позиции выставку зимней флоры «Цветы мужества». С плюсовкой, вроде бы всё.

Теперь к минусовке. Открываю файл «Ведомость негативных идеологических проявлений». Тут ранжировка событий особенно важна, и всякий неприятный случай требует хирургически точных рекомендаций, поскольку изначально в Москве расценивать их будет Центр принятия критических решений, а уж потом вместе со своими уточнения передавать в администрацию проэдра. Здесь как на минном поле, ошибиться можно лишь раз.

Сверху, понятно, «Дойче велле» с их алкашом-пироманом. Тут всё ясно. А вторым в антирейтинге идут публичные пастернаковские чтения в библиотеке Ленинского района. Они-то чем кому не угодили?..

От ведомости отвлекает звонок по закрытой линии городского телефона, до сих пор именуемом «вертушкой» с лохматых советских времён. Замгубернатора по идеологии Волков, мой непосредственный начальник. Снимаю анахроническую трубку со стационарного телефонного аппарата цвета слоновой кости:

– Здравствуйте, Леонид Павлович.

– Приветствую, Пётр Вадимович. Северолесск у тебя в плюсовке на первой строчке, разумеется?

– Конечно.

– Ты мне про Фатюшина разъясни: поощрять его теперь или наказывать?

– Нашу рекомендацию в сводку включить?

– Да зачем бюрократию разводить? Губернатор обязательно сегодня спросит, а ты Фатюшина лучше меня знаешь, мне понимать нужно, как верно реагировать.

Второй год как к нам Волков приехал в команде нового губернатора с Донбасса. При первом знакомстве сразу обратил внимание на мою орденскую планку с медалью «За взятие Дзержинска», с тех пор со всем своим уважением ко мне. Вот, советуется. Оно и понятно, он этого Фатюшина раз пять на общих совещаниях видел, а я с ним семнадцать лет знаком, ещё с первой конференции «Духовное возрождение Заречья-2013», где мы оба были делегатами от своих первичных организаций.

– Я бы не поощрял, но и не наказывал. Можно сухо похвалить, не большое. Так-то он мужик толковый, но Северолесск – реально медвежий край, с собственными источниками финансирования там полный швах, на подсосе у областного бюджета всю жизнь существуют. В общем, есть объективные причины отставания, есть.

– Ладно, понял. Спасибо, Пётр Вадимович. Успехов.

Фатюшин мне должен будет, тоже неплохо... Ладно, на чём мы остановились? А, Пастернак. Он-то каким боком по нашему ведомству?

«... Татьяна Георгиевна Минеева, заместитель директора библиотеки и м. Л.Н.Мартынова, как организатор публичных чтений, вызвана в департамент для дачи объяснений по факту проявления политической близорукости. Решение о соответствии занимаемой должности Т.Г.Минеевой будет принято на основании заключения комиссии по соблюдению стандартов духовно-нравственных норм, которое состоится 5 февраля с.г.». С этим понятно. Однако, на чём рекомендация основана? Придётся читать пояснительную записку.

«... постоянная посетительница литературных чтений, бывший педагог русского языка и литературы школы №39 В.Я.Брычко. В её сообщении указывается на факт педалирования строчек Б.Л.Пастернака «Февраль. Дать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною чёрною горит». Участница библиотечного собрания высказывает своё возмущение неоднократным цитированием стихотворен

ия Б.Л.Пастернака. По её твёрдому убеждению, восхищаться стихотворением, в котором поэт писал о феврале навзрыд, как о грохочущей чёрной весной слякоти, могут только враги Сватороссии, в своём стремлении опорочить народную память о 24 февраля 2022 года. Сообщение приобщено к материалам для комиссии. Вх.№ 343/ 4519».

Ясно. Может, не так уж и неправ Фёдор, к месту и не к месту цитирующий Довлатова про четыре миллиона доносов?.. К чёрту! Довлатов этот с егодня всегда не к месту. Он не может быть к месту, когда, считай, только вчера закончилась одна война, а впереди маячит новая, ещё более безжалостная, ещё более страшная.

Дура она, эта пенсионерка Брычко, но дура полезная: в наше время лучше на водичку подуть, чем обжечься огнём большого пожара, который разжигают все эти художники, артисты, библиотекари с их Пастернаком, прочие плакальщики по ушедшей великой русской культуре и не только, заметим в скобках, русской. Доносы, говорите? А что плохого в доносах, я вас спрашиваю? Есть неравнодушные люди, искренне защищающие русскую идентичность. Защищают как могут, как умеют, как их научили! С чего бы столько брезгливого высокомерия к простым людям, а, Федя? Объясни мне, с чего ты и тебе подобные решили, что именно вы соль земли русской? А не эта пенсионерка В.Я.Брычко, не сорок сотрудников моего департамента, не простые мужики из Северолесска, polegшие под Бахмутом, Угледаром, Мариуполем? Молчишь, Федя, не находишься с ответом? Вот так-то. И нечего мне тут, алкаш несчастный...

Половинку капотена под язык, давление сбить. С ума здесь сойдёшь с этой работой, с этим зятем, с этой долбанной сводкой!.. Значит так, Пастернака с его февральским нытьём к ногтю, неравнодушную гражданку В.Я.Брычко поощрить благодарностью департамента.

Пишу в чате Елфимову: «Зайди». Заходит весь в предупредительной готовности после утреннего разбора их с Глоцким неудачного полёта мысли:

- Слушаю, Пётр Вадимович.
- Послезавтра на комиссии будете разбирать дело этой библиотекарши, которая с Пастернаком отфордыбачила.
- Минееву, замдиректора. Помню.

– Уволить. Или тебе, как председателю, моё письменное распоряжение нужно?

– Нет, не нужно, зачем? – возмущённо пожимает плечами Евгений Глебович, выражая оскорблённость недоверием начальства. – Если вы так считаете, значит, есть для этого веские основания. Не думаю, что у других членов комиссии будут возражения.

– Да, есть. И веские.

Что может быть весомее внутреннего ожесточённого спора с этим зятем-баламутом, играющего на нервах всей семьи? Да и на страхе, если уж совсем себе не врать. Загребут Федю – и за мной ниточка потянется, и за Элей, и за Бертой. А с Серёжкой что потом будет? Кому он петь станет: «Эх, вырасту солдати́ко-ом!»? Библиотекарше этой?

– Я тогда пойду? – напоминает о себе Елфимов.

– Конечно, Евгений Глебович. Извини, задумался что-то.

Ладно, что там у нас дальше с негативными, мать их, проявлениями? Резолюция собрания зареченского отделения Союза писателей Святороссии «Об обращении к губернатору о перекреплении членов Союза из районных пригласительных салонов к городским салонам премиум-класса». Рекомендация: «Считать инициативу писательской организации политически незрелой, вызвать председателя творческого союза Беленького А.И. для профилактической беседы. Принять меры к недопущению информации в СМИ и социальные сети. Оснований для реагирования со стороны федеральных органов власти не установлено».

Ну, верно всё: уж со своими писателями мы тут сами как-нибудь разберёмся. Возомнили себе верные службисты идеологического фронта о безграничном доступе к коломенской колбасе, решили поставить себя выше народа. Народа, который в агрохолдингах свиней выкармливает день и ночь для этой колбасы, который из последних жил льёт сталь для танков Т-80, который с ребяташками песню разучивает «Вырасту солдатиком» за копеечную воспитательскую зарплату! А эти талоны себе требуют премиум-класса, ишь ты. И не думают, как их заявление сможет интерпретировать вражеская пропаганда: «Голодающие писатели Зареченска требуют выдавать им прикрепительные талоны премиум-категории,

приравнивая себя таким образом к правящему классу святоросской бюрократии». А мне потом по шее за идеологический недосмотр.

Не будет никакого недосмотра, потому что сейчас мы это дело поручим своему заместителю. Набираю Елфимова:

– У Беленького премьера готовится в драме, я правильно помню?

– «Последний залп», да. И в ТЮЗе к следующему сезону минкульт утвердил его пьесу «Приключения маленького дрона».

– Позвони Щусю от моего имени, Евгений Глебович, пусть свернут все проекты в театрах этого голодающего без премиум-талонов драматурга. Вконец охренели зареченские писатели.

– Понял, Пётр Вадимович, согласен.

– Сводку завизировал, отправляй наверх. Я сейчас на обед, потом в Трибунал, сегодня больше не появлюсь. Если что-то срочное – сразу звони.

– Домой, Пётр Вадимович? – Николай вопросительно смотрит в зеркало над водительским сиденьем.

– Через цветочный. И новости включи, пожалуйста.

– Конечно.

Водитель выворачивает от входа в департамент к шлагбауму, открывающему выезд на главную городскую магистраль, включает радио, рекламирующее туалетную бумагу «Нежность» счастливым женским голосом: «... ласковую, как мамины руки». Что-то есть в этих постоянных рекламных отсылках к маме от блатного лагерного надрыва: сижу я, типа, за тройное убийство, но маму не трожь, мама – это святое, я помню её ласковые руки. Ласковые, как туалетная бумага...

Так, любимые Элины цветы – розы, желательно какой-нибудь странной пегой расцветки. Ничего, сейчас каких только роз не найдёшь в цветочных магазинах. После санкционного смягчения розы и прочие голландские орхидеи сбили цены на цветочном рынке едва ли не вдвое. Если мы опять начинаем дружить с Америкой, поднявшей на свой звёздно-полосатый флаг традиционные консервативные ценности, то и снобистская либеральная Европа к нам потихоньку подтянется – и розы из Амстердама, это только первые цветочки, да простит меня Николай за невысказанный вслух каламбур.

Вот и радио подтверждает неуловленную ещё очень многими смену внешнеполитического курса: «Президент США Максвелл отправил проздравительную телеграмму с первой годовщиной новой Конституции, установившей верховенство власти государственного Синклита на территории современной Святороссии. Дональд Максвелл подчеркнул приверженность двух великих держав делу мира и разрядке международной напряжённости». Читать послание следует так: впереди, похоже, нас ожидают большие внешние и внутренние потрясения, но нужно держаться друг дружки, поскольку народишко следует зажать в ежовых рукавицах, и нам обоим это прекрасно известно. В общем, будем дружить семьями, а не это вот всё.

Это вот всё как раз прямо сейчас и льётся из новостных комментариев: «лживые уверения в дружбе и сотрудничестве», «историческая неблагодарность англосаксов», «приверженность Америки к экспансионизму». Дурачки московской радиостанции так до сих пор ничего и не поняли. Дойдёт до них, конечно, но будет поздно...

А вот и цветочный магазин «Флора». Ладно, пойдём посмотрим на их пегие розы. Или даже каурые.

Глава 4. Скорее мёртв, чем жив

Новенький служебный «форд» супруги стоит у подъезда: получается, Эля планирует после семейного обеда ехать в редакцию. Это хорошо, значит запланированный ею разговор будет недолгим. Может, и без скандала сегодня обойдётся.

Консьерж в холле отрывается от мониторов, образцово вытягивается во фронт, так и стоит, пока за мной не закроются двери лифта. Подбираю в зеркале правильное радостно-озабоченное выражение лица, в котором и являюсь милому семейному собранию.

Первым в коридор, понятно, выскакивает Серёжка, наставляет на меня синий пластиковый автомат: «Деда, сдавайся!» Сдаюсь я, Сержик, сдаюсь целиком и полностью на милость здешних победителей. Ну, или победительницы, чтобы излишне не обобщать. Так под конвоем с поднятыми вверх руками и вхожу в тревожную мизансцену семейного обеденного совета на высшем уровне. Чисто ремарка из пьесы Беленького: «в

ходит встревоженный Лазарев». Пошлая картина, конечно, какой ей и положено быть у бездарного драматурга. Но жизненная, тут не отнять.

– Здравствуй, Эля, – приветствую жену дежурным дружеским поцелуем в щёку. – С приездом. Это ты Серёже из Москвы новую игрушку привезла?

– Да, бабушка привезла! – спешит объяснить внук. – Смотри, как он стреляет!

Сержик от бедра косит родню длинной трескучей очередью, сопровождаемой бегающими красными огоньками по всей длине автоматного ствола. Все счастливы, только бабушка не падает, а продолжает раскладывать ножи с вилками на скатерть с негнушимися складками по белоснежной поверхности. Берта ставит привезённые мною розы непонятной расцветки в высокую вазу, водружает её на середину стола. Высокая фигура зятя выражает скучную независимость, но глаза из-под свисающих на них длинных светлых лохм с плотоядной тоской поглядывают на бутылки, призывно сгруппировавшиеся рядом с цветочной вазой.

– Все в сборе, теперь можно и за стол, – командует Эля, окинув взглядом финальную сервировку и автоматически поправив стрижку с намеренно нескрываемой обильной уже сединой. – Здесь сядет Берта, здесь Фёдя, между ними Серёжа, а мы с дедушкой напротив. Прошу.

Все занимают места согласно озвученному штатному расписанию. Даже Сержик не капризничает, понимает неуклонную бабушкину волю. Рука Фёдора с длинными сильными, но изнеженными пальцами рефлекторно тянется к коньяку, но вовремя возвращается на место, остановленная чуть поднятой бровью Эльвиры.

– Открой, Петруша, шампанское, – распоряжается глава семьи в элегантном деловом платье со значком делегата партийного съезда. – В кои-то веки все вместе собрались за столом.

– Собрание назначается праздником, – поддерживает мысль тещи муж Берты, осуждающий шампанское как бессмысленный алкогольный напиток, но понимающий необходимость соблюдения ритуала.

Эля улыбается плоской шутке Фёдора, благосклонно кивает, я разливаю «Абрау-Дюрсо» по высоким тонким бокалам чешского, что ли, стекла, встаю с фужером в руке:

– С возвращением, дорогая наша бабушка. Мы все тут без тебя очень скучали. Правда, Серёжа?

Внук торопливо кивает, ждёт счастливой минуты, когда можно соединить с весёлым звоном свой стакан яблочного сока с бокалами взрослых. Вот, соединили, теперь можно перейти к салатам. У меня как-никак обед, мне ещё Родине потом служить до ночи, а на голодный желудок много не заслужишь.

– Что в столице, какие настроения? – вопрос у меня не праздный, всегда важно понимать, чем дышит центральная власть.

– Сложные настроения, если не сказать парадоксальные, – Эля рисует на лице улыбку, подкладывая зятю салат из тунца. – Официальная позиция Синклита вслух ещё не озвучена, но, по всему, максвелловская Америка уже назначена стратегическим партнёром Святороссии. Исходить нам теперь придётся из этого. На закрытой встрече с регионами Величко говорил вполне определённо. Не промахнись сейчас, Пётр, пока всё движется на инерции тренда привычной гибридной войны с англосаксами. Думаю, многие сломаются в ближайшее время на противоборстве с ложным противником. Лучше исключить совсем идеологическое рвение, демонстрировать нейтральную позицию. Учти... А так, 85-летие Победы на носу, все партийные усилия должны быть направлены на максимально достойное обеспечение главного праздника страны. Вот уж что сейчас поставлено на контроль в самую первую очередь. Имей в виду.

– Это даже Серёже понятно, – отвлекая внука от увлекательного болтания вилкой в стакане с соком, прошу. – Спой бабушке «Вырасту солдатиком». Ну, пожалуйста.

– Не хочу, – приступами непреклонной упёртости Сержик точно пошёл в бабушку. – Отстань, деда.

Зато не утерпел зять. Тоже упёртый, как твердолобый осёл, если бы ослы наливали за столом три рюмки коньяка, или сколько он их там успел выпить за прошедшие пять минут застолья.

– Опять, значит, победобесие это своё включили. Никак детей в покое не хотят оставить.

И бровью не повела Эльвира:

– Берта, деточка, подавай горячее. Пусть мужчины оценят нашу с тобой кулинарию.

Берта встаёт, излишне резко бросает на стол салфетку, удаляется на кухню.

– И чем сегодня вы нас угощаете? – возвращаю застольный разговор в мирное семейное русло.

– Да ничем особенным. Берта предложила телятину по-милански сделать. Она мясо приготовила, я соус к спагетти. Оцените наши гастрономические таланты... Федя, не спеши, сейчас под горячее все вместе нальём. Мне нужно ещё кое-что важное сказать.

– Я и под горячее не премину, – коньяка уже полубутылки осталось Фединими усилиями, но рюмка полна и заздравно поднята над столом. – Ваше здоровье, Эльвира Александровна.

И немедленно выпил.

Берта расставляет тарелки с ароматно пахнущим блюдом. Я открываю бутылку чуть охлаждённого кьянти, разливаю в бокалы Эльвире, Берте и себе. Зять, не чинясь, плеснул в рюмку коньяку с горкой.

– Итак, душа моя, что ты хотела нам сообщить? – вопросительно держу бокал за длинную ножку.

– Это не тост, – сообщает Эля. – Сейчас пока предлагаю за Серёжу, пусть растёт большим и сильным.

Кто же против? Конечно за внука, святое дело. Но есть кто против. Ну а как же.

– Неважно, вырастет мой сын сильным или нет, важно, чтобы он не вырос подонком, – голос Фёдора становится неестественно высоким и тонким. – Извините.

Чем ещё вправлять на место нервные голосовые связки? Коньяком, понятно.

– Вы закусывайте, Федя, закусывайте, – если бы змеи могли улыбаться, они бы улыбались, как сейчас Эля.

– Очень вкусно, девушки, очень, – пытаюсь смикшировать очередную застольную неловкость. – Соус прямо очень острый, как я люблю.

Берта помогает:

– Спасибо, папа, мы с мамой старались... А нас с Федей утвердили на межрегиональную выставку молодых художников. У меня отобрали туда серию «Тихие улочки», а у Феди две картины: «Живое и мёртвое» и «Зверина нежность». Всего семь участников будет из Зареченска.

– Поздравляю, дочь, очень поздравляю, – и со всей возможной искренностью обращаюсь к зятю. – Тебя, Фёдор, разумеется, тоже.

– Я мультики хочу смотреть, папа, – заканючил Сержик. – Мне с вами скучно.

Папа промакивает ему салфеткой рот, вытирает руки, берёт Серёжу под мышки и выдёргивает из-за стола. Дружески хлопает по попе:

– Иди, включай телевизор. Знаешь как?

– Я не маленький, – обижается внук, подхватывает новый синий автомат и убегает в спальню.

– Я помню твою серию офортов, очень красивая, – кивает Эля дочери и уточняет у зятя: – А твоих работ, Федя, извини, не помню.

– Это новые, нигде раньше не выставлялись, – равнодушно наполняет себе рюмку зять.

– Я покажу, мама, – Берта открывает галерею в телефоне, предъявляет нам Федину живопись. – Вот «Нежность», а это «Живое и мёртвое».

– Интересное здесь цветовое решение, – увеличивает на экране картины зятя Эля. – А это мёртвое дерево, на котором распускается живой листок, да? Очень позитивная работа, мне нравится.

Хорошо иметь в семье культурную журналистку. Я-то вообще всю эту современную модернистскую живопись запретил бы, как идеологическую диверсию. Мне бы пейзажи Шишкина кто из молодых бы нарисовал или хоть врубелевского «Демона», хотя тот тоже такой, знаете, с претензией. Но одобрительно мычу, головой киваю, как умный.

– Большой успех, – подтверждаю. – Творческая удача. Мои поздравления... Но не пора ли нашей маме сообщить причину, по которой она нас всех тут сегодня собрала? Просим, просим!

Шутливо аплодирую, чтобы скрыть некоторое напряжение: вообще не припомню, чтобы Эльвира когда-нибудь настаивала на специальном сем

ейном собрании. Не по какому-то общему праздничному случаю, а так, без внешнего повода. Не к добру это, чувствует моё сердце. Но чего уж теперь тянуть кота за хвост? Да и дела у всех после обеда, мне через час в Трибунале уже пора быть.

Эля посмотрела на меня внимательно, вздохнула, провела рукой по вызывающей седине причёски, но сказать ничего не успела, потому что сказал Фёдор:

– Он не распускается, он умирает.

– Кто? – я не понимаю.

– Листок. Последний зелёный листок на мёртвом дереве, последнее живое, бессмысленно сопротивляющееся мёртвому. Напоследок.

Неловкое молчание, только Берта демонстративно убирает от мужа почти уже пустую бутылку коньяка.

– Мрачновато, – наконец холодно реагирует Эльвира. – Но ты художник, тебе виднее.

– Не мрачнее культа войны с вашим Бессмертным полком, – голос Феди опять стончается в нерве. – Когда вы только начнёте жить вперёд, а не назад? Нам жизнь поломали, теперь вон Серёжке ломаете. И остальным.

– Перестань, – нервно прерывает Фёдора дочь. – Ты бы на выставке так свою философию объяснял, но там ты молчал, когда Стерлецкий говорил о сдержанном гуманизме молодого художника Фёдора Стока. Не спорил с начальством.

– У художника начальников не бывает. Если это настоящий художник, не придурочный. Я – настоящий!

– Никто не спорит, Федя, – пытаюсь вернуть застольный разговор в мирное русло. – Умиравший листок так умирающий. Каждый увидит в твоей картине что-то своё. Это же хорошо, правда?

Зять пожимает плечами, кивает. Он всё сказал. Ну, пусть, здесь можно. А где нужно, отмолчался: бунтарь-то бунтарь, а мыла не ест. Диссидент штопаный, домашний.

– Чаю? – Эля невозмутима, как актёр Цыганов. – Я торт привезла «Столичный», бывший «Киевский».

– И торты здесь тоже бывшие, – тихо в сторону цедит зять. – И всё у них так.

Смотрю на часы: до заседания Трибунала осталось сорок минут. Время не ждёт.

– Мне не наливай, – останавливаю Берту с чайником. – Уже пора. Эля, ты по какому случаю семью собирала всё-таки? Пять минут у меня ещё есть.

– Это не срочно, – взгляд супруги направлен куда-то сквозь меня. – Ничего, в следующий раз. Вы кушайте торт, Федя, кушайте.

– Радио включить, Пётр Вадимович? – спрашивает водитель, медленно выезжая со двора, протискиваясь мимо машин, выстроенных в два ряда вдоль и без того неширокого проезда.

Всё говорят, что мы плохо живём, а пешеходов на улице уже меньше, чем автомобилей.

– Поедем в тишине, Николай. Поработаю.

Крепкий короткостриженный затылок согласно кивает, чуть расправляя жировые складки над шеей.

Сворачиваем на Красноармейскую, здесь будем долго тащиться по пробкам у каждого светофора. Правый ряд занимают погребённые под снегом машины, тут не разгонишься. Сколько раз ставился перед мэром вопрос о принудительной эвакуации личного автотранспорта, припаркованного на всю зиму по центральным магистралям. Всё без толку.

Открываю папку с разосланными к сегодняшнему Трибуналу материалами. К слушанию предлагаются всего четыре дела – уже неплохо, есть шанс вернуться домой часам к десяти. Можно будет спокойно поговорить с Элей: не просто же так она пыталась сегодня собрать семейный совет? Супруга мудрая женщина, без надобности лишних движений делать не станет – значит, действительно была необходимость в обсуждении чего-то существенного. Что бы это могло быть?

После Нового года звонил Виктор, приглашал всей семьёй отдохнуть пару недель в Таиланде. Не в его, конечно, загородной вилле, но предлагал снять неподалёку две приличные студии в кондоминиуме на Джомтене. Десять минут от пляжа, два бассейна, морские виды для эскизов Берте и Фёдору, экзотические фрукты для внука, массаж для Эльвиры, тайский ром для меня. Всё в неограниченных количествах. Недёшево, кон

ечно, выходит на пятерых, но, возможно, в Москве у Эли открылись какие-то новые финансовые перспективы. Умница она у меня всё же да и красавица, чего уж тут скрывать. А неплохо бы в гости съездить к старинному и единственному другу, да. Сколько уже не виделись? Семь лет назад приезжал Виктор на похороны матери и заодно уж на осеннюю охоту из своей Паттайи, столько и не виделись.

Понятно, что зять кому угодно настроение испортит, когда выпьет, а трезвым мы его уже год, наверное, не видели. Вот и сегодня развыступался, алкаш-правдоборец – какие уж тут разговоры о Таиланде. Отлично понимаю Элю, Фёдор любому настроению испортит, страху подпустит о дальнейших перспективах наличия в семье такого мужа дочери. Вот и предлагай после этого совместный семейный отдых в Таиланде. Но, как пел Высоцкий, «какой ни есть, а он родня». Из песни слова не выкинешь, да и зятя из семьи тоже.

Ладно, вечером в спокойной обстановке с Элей поговорим. Надеюсь, она тоже в редакции не задержится до поздней ночи, как это у неё часто сейчас бывает. Ну так время такое сложное нынче проживаем, очень не простое время: холодное, бедное, трудное, межвоенное, – но времена, как известно, не выбирают. Что ни век – то век железный, и так далее. В общем, вечер обеда мудренее.

Побыстрее бы только в Трибунале отстреляться. Что у нас там сегодня? «Дело 21/ 149. Лоншаков Олег Валентинович, заместитель директора КБ «Агропромсервис». Русский, 1968 года рождения, беспартийный. Обвиняется инженером того же конструкторского бюро Стрельченко С.П. в непочтительном отношении к государственной политике распределения товаров первой необходимости». Н-да, не факт, что Трибунал сегодня не затянется. Ну да ладно, поживём – увидим.

Глава 5. Окончательный вердикт

Общественный Трибунал разместился в здании бывшей городской Думы сразу после упразднения новой Конституцией местного самоуправления. Таким образом верховная власть изначально расставила приоритеты: вначале искоренение мятежного духа, а уж потом работа с грубой материей повседневности.

Не случайно председателем Трибунала назначен благочинный Андрей Петраков, правая рука престарелого архиепископа Зареченского и Гродского Витимия. По слухам, именно отцу Андрею прочат нашу епархию после ухода в мир иной зареченского владыки. Впрочем, генерал Семёнов рассказал по секрету, что благочинного от нас могут забрать в Москву, он на высоком счету в патриархии. Всё может быть – они там в ФСБ лучше информированы, чем мы, простые смертные. А вот и сам Олег Антонович, лёгок на поминках.

– Категорически приветствую, Пётр Вадимович, – генерал профессионально благодушен, так уж заведено между двумя заместителями председателя Трибунала.

– Доброго вечера, Олег Антонович, – улыбаюсь ответно Семёнову вполне искренне.

Генерал слывёт в наших краях человеком если не либеральным, то вполне себе нелюдоедским, что уже неплохо по нынешним временам.

– Может, после заседания в «Красный шар» заглянем на пару часов? У меня вечер свободен, – предлагает Семёнов.

Хорошо бы, конечно, сыграть в бильярдной партии пять в «невку» – оно и для здоровья полезно при нашем бюрократическом образе жизни, да и в информативном плане было бы нелишним, но вечерний разговор с Эльвирой откладывать себе дороже выйдет.

– Увы, обещал супруге сразу после Трибунала явиться пред её светлые очи, – вздыхаю, шутливо развожу руки. – Она у меня сегодня со съезда вернулась, неделю не виделись.

– Понимаю. Ну, тогда привет Эльвире Александровне от меня. Тейкову предложу, хотя из него бильярдист, как из меня Мизулина. Тебя обыграть – редкое удовольствие, а его – скучная неизбежность. Но, как говорится, на безрыбье и тётка – собутыльник.

– В следующий раз – обязательно, Олег Антонович. А нынче – не обессудь. Ну что, пойдём занимать места согласно купленным билетам?

В Общественном Трибунале пять судей. Центральное кресло за длинным столом президиума отведено председателю отцу Андрею, справа от него обычно сидит первый заместитель генерал Семёнов, слева положено сидеть мне, как второму заму. По краям располагаются гендиректо

р Промавтоматики Егор Васильевич Тейков и завуч гимназии №119 Нина Тихоновна Стороженко. Рассаживаемся, выкладываем перед собой материалы исследуемых сегодня дел, ждём председателя.

Наконец из боковой двери входит благочинный в сопровождении двух приставов и секретаря Трибунала, здоровается со всеми за руку, объявляет, перекрестившись:

– Что ж, начнём, благословясь, наше заседание. Прошу пригласить участников первого процесса.

Пристав запускает в зал двух мужчин и двух женщин. Выглядят они вполне среднестатистическими служащими оборонного производства в состоянии заметного нервного напряжения. Обычная история, Трибунал есть Трибунал, тут жизнь людская решается, так уж у нас заведено.

Отец Андрей неловко вытягивает из-за стола в полный рост свою длинную нескладную фигуру в чёрной церковной униформе, автоматически проводит рукой по аккуратной бородке клинышком, отбивает гулкий удар деревянным молотком:

– Слушается дело заявителя Сергея Прокопьевича Стрельченко в отношении Лоншакова Олега Валентиновича. Слово представляется заявителю.

Благочинный садится, а за кафедру дачи показаний встаёт немолодой, сухощавого спортивного вида инженер конструкторского бюро «Агропромсервис» Стрельченко.

– Прошу вас, Сергей Прокопьевич, – кивает головой председатель и углубляется в лежащие перед ним документы.

– Спасибо, господин председатель, – чуть кланяется Трибуналу заявитель. – Я работаю в КБ «Агропромсервис» девять лет...

– Мы же не в пионерлагере здесь страшные истории друг другу рассказываем, Стрельченко, – досадливо отрывается от бумаг отец Андрей. – Существует порядок, установленная форма слушаний, протокол ведётся, в конце концов. Вам же всё это хорошо известно, Сергей Прокопьевич.

– Виноват, господин председатель, – нервно дёргает шеей заявитель. – Волнуюсь.

– А вы не волнуйтесь. Ещё раз с начала и по форме.

Стрельченко откашливается и неожиданным фальцетом тонко вскрикивает:

– Слово и дело! Под руководством главного инженера Лоншакова я работаю в «Агропромсервисе» вот уже девять лет...

Тронулись, наконец, с места, поехали. Каждый, наверное, третий заявитель забывает предупредить своё выступление установленной законом об Общественном Трибунале словесной формулой петровских времён. От волнения, понятно. А волнение это от ответственности. Без архаичного вступления слушания дела не будет, потому как формулировкой «слово и дело» заявитель вербально клянётся не только в абсолютной достоверности излагаемых им фактов, но и расписывается в неминуемом воздаянии за дачу ложных показаний.

Понятно, что Общественный Трибунал не предусматривает уголовную ответственность по итогам своего заседания, более того, в его состав запрещено входить лицам с юридическим образованием, чтобы никак не соотносить общественно вредные деяния с уголовным кодексом, но окончательный вердикт нередко служит основанием для возбуждения дела прокуратурой. А даже если до этого не доходит, то последствия для фигурантов всё равно случаются разнообразные и чаще печальные, чем наоборот. И для недобросовестных заявителей тоже. Вернее, доносчиков. К таким генерал Семёнов особенно, скажем так, непочтителен. Так-то Олег Антонович, как правило, выступает едва ли не всепрощенцем, что для начальника управления ФСБ выглядит, по сути, nonsensom. Но я его прекрасно понимаю: им там с реальными агентами и диверсантами работы хватает, а Трибунал разбирается с идеологически незрелыми личностями, критиканами, иногда даже со скрытыми противниками действующей власти, но не обязательно преступниками. Главной задачей Общественного Трибунала предписано выявление и публичное осуждение частных негативных проявлений общественной жизни, профилактика преступлений в сфере духовности и нравственности. А ложный донос в картине мира генерала Семёнова и есть первейшее нарушение нравственного человеческого закона. Базовое филологическое университетское образование говорит в Олеге Антоновиче. А гуманитария из челове

ка сложно до конца выковырнуть, даже если он до генерала ФСБ дослужился...

С Лоншаковым этим всё, в общем, уже понятно. Вслед за Стрельченко о бе свидетельницы – напуганные тётки-лаборантки из возглавляемого заявителем отдела кривошипных механизмов – подтвердили, что замдиректора конструкторского бюро на новогоднем корпоративе произнёс хмельную речь об убогости нынешней распределительной системы потребления, заявив, что «пригласительные салоны оскорбляют его человеческое достоинство» и что «если десять лет назад всё можно было купить в магазинах безо всяких талонов, то и менять ничего не нужно было, а просто жить как все нормальные люди живут во всем мире и даже в Америке».

И про Америку напрасно сейчас Лоншаков жалобно оправдывается перед наседающим на него Тейковым. Тейков сам руководитель оборонного КБ, но его сегодняшние обвинения в адрес подсудимого коллеги могут в ближайшее время обернуться для судьи гораздо большими неприятностями. Когда через месяц или раньше проэдр Строгов объявит курс на окончательное сближение с верховным президентом США Максвеллом, я не поручусь, что внимательно черкающая сейчас в блокноте завуч Стороженко не скажет «слово и дело!» в адрес нынешнего коллеги по Общественному Трибуналу Егора Васильевича Тейкова. Очень не поручусь...

Тем временем неприятно округлый и бесконечно повинный подсудимый Лоншаков закончил своё жалостное последнее слово, поклявшись всеми богами и здоровьем любимой бабушки в том, что и в мыслях не имел осуждать политику Синклита и Единой Святороссии, что исправится, искупит и больше не будет. Садится, вытирая платком взмокший веснушчатый лоб, сжимает между коленей трясущиеся кисти рук. Тётки-свидетельницы смотрят на него со страхом и жалостью.

Проект вердикта благочинный набросал на черновике стандартного формуляра приговора ещё пять минут назад, все члены Трибунала с ним согласились, расписавшись под решением и вернув бумагу обратно.

Председатель зачитывает окончательное решение: «Оставить за партийной организацией КБ «Агропромсервис» вопрос об объявлении Лонша

кову О.В. строгого партийного взыскания. Рекомендовать внеурочные общественные работы на своём предприятии сроком на три месяца. Руководству конструкторского бюро обсудить возможность наложения штрафных санкций в размере половины должностного оклада сроком на шесть месяцев».

Вместе с финальным ударом деревянного молотка спина Лоншакова за тряслась от рыданий. Он встаёт, утирает счастливые слёзы и благодарно кланяется в спины уходящих на заслуженный перерыв членов Общественного Трибунала. Не столь уж редкая картина при вынесении, по сути, оправдательного вердикта. Скучная даже.

В совещательной комнате генерал Семёнов затягивается сигаретой, закрывает глаза от удовольствия и выпускает ноздрями две струи ароматного табачного дымка. Я хоть и бросил курить пять лет назад, но к курильщикам никаких претензий не имею, в отличие от бесноватых апологетов здорового образа жизни, и так загнавших потребителей табачной продукции во все возможные резервации. Наоборот, сигаретный дым приятен моему организму, в отличие от организма Елены Тихоновны Стороженко, благодаря активным протестам которой мы с Олегом Антоновичем вынуждены стоять у открытой форточки в максимальном удалении от остальных членов Трибунала. А может, оно и к лучшему.

– Поговаривают, мы с Америкой опять во все дёсны дружить начинаем?
– вопрос мой, с одной стороны, не праздный, с другой – показывает генералу, что я тоже не чужд движениям высших сфер, со мной можно не отделяться правоверными фразами из телевизора.

Олег Антонович прикрывает веки, как бы наслаждаясь сигаретой, и медленно наклоняет голову. Отвечает вроде бы невпопад:

– Дональд наш Максвелл наконец решился признать Маска государственным преступником. Ему бы раньше это сделать, пока тот ещё в Штатах жил, а не перебрался в Австралию вместе со своими сектантами. Но лучше поздно, чем никогда.

Понятно. Единственным препятствием для полномасштабного сближения с обновлённой Америкой являлся баламут Илон Маск, бывшая правая рука Максвелла, но разругавшийся с ним вдрызг на почве неприятия

Верховным президентом идеи о срочной колонизации Луны. Теперь это препятствие устранено, маскианцы объявлены врагами не только Святославии, но и самих Соединённых Штатов. Отчего бы нам теперь и не заадружиться против зловредной Европы и прочего Китая? Логично, да.

– Доскональный механизм мне супруга разъяснить ещё не успела, вечером с ней предметно обсудим. Но суть вопроса прояснилась, спасибо. Генерал вновь медленно закрывает глаза с лёгким кивком головы. Потом неожиданно бросает острый взгляд.

– Как дочка ваша, поживает Пётр Вадимович? – улыбается генерал, но глаза его не улыбочивы, как-то нехорошо сочувственны. – На большую выставку, слышал, отобралась. Поздравляю.

– Спасибо, – отвечаю. – И у зятя две картины признали достойными, тоже поедет.

Тут уж лучше сразу нужно к главному, к Фёдору, чего ходить вокруг да около.

– Тогда вдвойне поздравляю, – ещё шире улыбается губами Олег Антонович. – Талантливая у вас молодёжь, не каждому такое счастье выпадет. И с этим живым листком славная картина у Фёдора нарисовалась, подействует на взыскательного зрителя. Не каждый поймёт тонкую мысль настоящего художника, далеко не каждый...

Генерал тушит окурок в пепельнице, громко обращается к товарищам по борьбе с деструктивными явлениями в богоспасаемом Отечестве:

– Пора возвращаться к грехам нашим тяжким. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!

– И то верно, – соглашается, посмотрев на часы, отец Андрей. – Прошу, коллеги.

Вхожу в зал Общественного Трибунала последним, деликатно придерживав тяжёлую дубовую дверь перед судьёй Стороженко. Неспроста упомянул Фёдора генерал Семёнов, там спроста никто ничего не делает. Тревожный сигнал, нехороший. Предостерегающий. Не забыть с Элей посоветоваться сегодня.

Следующие два слушания заняли не более часа. Бухгалтер ресторана «Поплавок» Негойцева С.Т. признала за собой безусловную вину в отка

зе выдачи ссуды ветерану СВО официанту Приктову Б.Д., а председател ь ТСЖ «Тополиный-27» Мелешко А.Г. сразу раскаялся в том, что отказал пенсионеру Желудёву П.П. в расклеивании его самодельных стихов к празднованию Дня защитника Отечества в лифтах подведомственного дома. Оба отделались временным занесением в публичный реестр на рушителей нравственных устоев «Они позорят наш город» с традиционным видеопокаянием. Провисит оно на сайте положенные три месяца, а потом уйдёт в архив без существенных последствий для свободы и карьеры провинившихся перед Трибуналом.

Но свою долю общественного позора эти самые Негойцева и Мелешко безусловно получают. И дети их, и внуки ощутят на себе законное презрение своих товарищей. В том и заключается воспитательная суть Общественного Трибунала, его воздействие на население не буквой закона, а добрым словом. Ну, или недобрым, в нашем случае, зато действенным.

Не так уж много накопилось за год в реестре подобных видеосвидетельств: сегодняшние зафиксированы за номерами 432 и 433. Но каждый случай обязательно становится информационным поводом для городской и областной прессы, корреспонденты которой и составляют допущенную в зал заседаний публику. И сейчас они спешат набрать на клавиатурах своих ноутбуков заклеймённые фамилии, чтобы донести их через считанные минуты для читательской аудитории.

Вон и Вера Яшкина из «Вечернего Зареченска» не отрывает головы от компьютера, беззвучно шевеля в такт набираемому тексту полными губами в вызывающе-красной помаде. Симпатичная женщина, яркая, ничего не скажешь. И, по словам Эльвиры, вполне перспективный репортёр. Можно быть уверенным, что «Вечёрка» не просто ограничится дежурной информацией, а проведёт полноценное расследование, как бухгалтер Негойцева посмела отказать ветерану СВО в выдаче требуемой суммы на покупку нового смартфона, ссылаясь на ничтожную причину наличия выговора официанту Приктову за обслуживание клиентов в нетрезвом виде.

Не была бухгалтер на войне, не знает она, что пережил ветеран в окопах под Бахмутом или где он там защищал Родину от бандеровских укрон

ацистов. Не пристало тыловым крысам отказывать заслуженным фронтовикам в язвительной форме, даже если они в нетрезвом виде выливают уху на голову посетителям ресторана «Поплавок». Некрасиво это, не уважительно...

Хотя, признаться, не желал бы я обслуживаться в ресторане официантом из числа бывших «вагнеровцев». И в автосервисе хотелось бы, чтобы ремонтом машины занимался специалист без ПТСР, и дворником у нас пусть лучше остаётся таджик Зокирджон, чем какой-нибудь ветеран херсонского фронта. Видал я этих фронтовиков в деле, больше не хочу. Но мы про это никому не скажем, потому что мысли в голове ты не запретишь, а говорить такое вслух оставим бухгалтеру Негойцевой, которая сейчас покидает Трибунал, как побитая собака, вслед за гордым официантом Приктовым.

Хорошо движется сегодня заседание, споро – всего одно слушание осталось. Как раз от Эли сообщение пришло: «Когда тебя ждать сегодня?» Если за полчаса управимся, то к десяти вечера дома должен быть, но в нашем деле загадывать всегда себе дороже. «Постараюсь пораньше», – а что тут ещё ответишь? Мы предполагаем, господь располагает.

Как раз и служитель Господа нашего отец Андрей приглашает в зал участников последнего на сегодня разбирательства. Заявитель, каменщик ООО «Трест №4» Фехт Г.К. против заведующего отделением поликлиники №8 Гладкова В.С. Обвинение в неуважении к государственной символике Святороссии. Свидетельница Шаймутдинова Ф.А., чирлидерша группы «Зареченские птички». Серьёзное дело, тут быстрого вердикта не жди. Кончился сегодняшний лимит господень на рядовые случаи. Что ж, минуя торг и депрессию, сразу перейдём в стадию принятия.

Заявитель, одетый в приличный костюм-тройку с галстуком, своими очками в солидной роговой оправе и особенно спокойной и внятной манерой изложения больше напоминает университетского профессора, чем обычного работягу со стройки. Откашливается, уверенно начинает:

– Слово и дело! Господин председатель, уважаемые члены Общественного Трибунала, по существу своего заявления поясняю следующее. В понедельник 28 января сего года я вместе с несовершеннолетним сыном

Яковом Фехтом восьми с половиной лет пошёл в ледовую арену «Звезда» на хоккейный матч зареченского «Строителя» с московским «Спартак»». Мы заняли свои места в седьмом ряду сектора 12Б. От прохода нас отделяло одно место, которое чуть позже занял гражданин Гладков. До начала матча мы с сыном кушали мороженое, а вышеуказанный гражданин что-то читал в своём телефоне. Перед самым выходом на лёд хоккейных команд своё место в проходе рядом с нашим рядом заняла чирлидерша Шаймутдинова. После того как диктор арены объявил, что исполняется гимн Святой России, мы с сыном Яшей, как положено, встали и прижали ладони к левой стороне груди. Гражданин Гладков продолжал сидеть и смотреть в экран телефона. При первых звуках гимна он тоже не встал. Тогда я взял его, извиняюсь, за шиворот и поднял на ноги. Он ударил меня по руке, освободился и демонстративно сел обратно на своё место. Тогда стоящий за его креслом молодой человек пнул его ногой в голову, после чего между ним и Гладковым завязалась борьба, во время которой они вывалились в проход и уронили Шаймутдинову. Затем стюарды вывели в подтрибунное помещение Гладкова, а я записал личные данные свидетельницы инцидента Шаймутдиновой и пошёл следом за ними.

– А сына оставили в зале? – уточняет у заявителя завуч Стороженко.

– Так точно. Он у меня не первый раз на хоккее, как себя вести знает. И я ему специально сказал, чтобы с места не вставал даже в перерыве и ждал меня.

– Хорошо, продолжайте, Герман Клаусович, – благосклонно кивает заявителю председатель Трибунала.

– В помещении, куда стюарды доставили Гладкова, он продолжал ругаться и требовал отпустить его смотреть хоккейный матч, предъявлял купленный билет. Служба охраны не знала, с чего начался инцидент, и, кажется, хотела отпустить Гладкова с миром, но я рассказал о нарушении правил поведения посетителя формата посещения хоккейных матчей и настаивал на вызове полиции по поводу вызывающего поведения гражданина Гладкова. Выяснив, что он не выражался нецензурной бранью и не нанёс повреждения имуществу ледовой арены, сотрудники стадиона запретили Гладкову продолжать смотреть хоккейный матч и проводили его до выхода.

Я там же записал его паспортные данные и, вернувшись на трибуну, хотел привлечь к дальнейшим совместным действиям того парня, который пытался наказать нарушителя общественных норм, но он отказался даже дать номер своего телефона. После чего мы с сыном досмотрели хоккей и пошли домой. Вот, собственно, и всё.

– Это когда наши продули 0:4? – вспоминает результат Тейков.

– Да. После третьей шайбы мы ещё вратаря поменяли, но не помогло.

– Спасибо, заявитель, присаживайтесь, – отпускает бдительного камня с кафедры отец Андрей.

Свидетельница Шаймутдинова, выглядевшая как дорогая женщина низкой социальной ответственности, подтверждает слова равнодушного болельщика, добавив, что при падении сломала ноготь на левой руке, а эти нарощенные ногти немалых, между прочим, денег стоят, хотя всякие хулиганы про то понятия не имеют, впрочем, как и остальные мужики, которые, как известно, порядочные сволочи.

Затем секретарь Трибунала зачитывает пояснение по делу заведующего поликлиникой №8 Верескова Т.М., который не смог лично присутствовать на сегодняшнем заседании по причине острого ларингита (справка прилагается), но письменно подтверждает факт соответствия квалификации заведующего отделением профилактики и диспансеризации Гладкова В.С. стандартам министерства здравоохранения. Работа отделения по итогам прошлого года признана удовлетворительной, жалоб пациентов на доктора Гладкова не зафиксировано. Отдельно заведующий поликлиникой сообщил, что характер у подсудимого замкнутый, от общественных поручений он всячески уклоняется, настенный «Листок здоровья» в отделении не обновлялся уже два года. Готов признать свою долю ответственности за недостаточную разъяснительную работу с доктором Гладковым во вверенном ему коллективе.

– Ну что же, пора заслушать самого Гладкова, – подводит черту предварительным слушаниям благочинный. – Пора ответ держать, Валерий Станиславович. Прошу вас.

Невысокий кряжистый подсудимый восходит на локальное лобное место, проводит ладонью по седеющему ёжику волос и упирается взглядом в вечернюю темноту за окном. Вся его фигура в неуважительных джи

нсах и толстовке выражает странное равнодушие, и лишь короткие, толстые, совсем не докторские пальцы впились в края кафедры до белизны напряжённых костяшек. Ничего, голубчик, сейчас мы общими усилиями это твоё напускное спокойствие быстренько разоблачим, и не таких дерзких эта кафедра видела, которые вставали за неё бубновыми королями, а спускались трефовыми шестёрками.

– Вы подтверждаете факты, изложенные заявителем Фехтом и свидетельницей Шаймутдиновой? – первый вопрос всегда задаёт председатель, таков ритуал, потом в допросе уже может участвовать любой член Трибунала в свободном порядке.

– Да, – по-прежнему глядя в окно, соглашается Гладков.

– Как вы объясняете своё возмутительное поведение? – вступает в процесс судья Стороженко.

– Никак, – не поворачивает голову в её сторону подсудимый.

– Может быть, вы увлеклись перепиской в телефоне и пропустили начало гимна? – задаёт откровенно наводящий вопрос Тейков, хоккейный болельщик зареченского «Строителя» с детских лет.

– Нет, не увлёкся.

– То есть, вы сознательно не встали во время исполнения государственного гимна? – обычно я не тороплюсь выяснять подноготную, оставляю эту возможность другим, но тут сдержаться трудно.

– Конечно.

– Но почему?

Гладков впервые отрывает взгляд от окна, смотрит на меня довольно странно, с лёгкой невнятной гримасой жалости, что ли:

– Потому что я никогда не встаю под этот гимн. Никогда не вставал. И не намерен впредь.

В зале возникает лёгкий шум эмоций даже издавших виды аккредитованных журналистов.

– Вы что себе позволяете?! – срывается на крик Стороженко. – Вы отдаёте себе отчёт, где находитесь?

– Без эмоций, Нина Тихоновна, я вас прошу, – останавливает праведный гнев завуча отец Андрей. – Нищие духом тоже блаженны, как учит нас Создатель. Даже такие нищие, как подсудимый.

– Что ж вы так людей не любите, Валерий Станиславович? – вкрадчиво-сочувственно интересуется Семёнов. – Тех самых, которые не стесняются вставать рядом под наш с вами общий гимн. Он же не сам собою из ниоткуда взялся, его народ утвердил в качестве символа государства. Ответьте, пожалуйста.

Гладков смотрит в наклонный стол кафедры, молчит. И когда уже благочинный открывает рот для следующего вопроса, подсудимый поднимает голову и медленно выталкивает из себя слова:

– Я люблю людей. Я их лечу. Люди у нас хорошие. А народ – говно.

Шум в зале усиливается. Заявитель Фехт и свидетельница Шаймутдинова даже в своих креслах пытаются максимально отодвинуться дальше от явившегося им сейчас еретика и шайтана.

– Говно, значит? – голос Тейкова дрожит от возмущения. – Народ под этот гимн Москву от фашистов защищал, Гагарина в космос запускал. И этот народ – говно, по-твоему?

– Народ Москву под этот гимн не защищал, а сам себя в сталинских лагерях под него и гноил. Такой уж этот народ.

– Что значит «не защищал»?! – уже в голос рычит Тейков. – Ты что такое говоришь сейчас? В этом году 85-летие Победы празднуем всем миром!

– В сорок третьем твой гимн написан был, через два года после обороны Москвы. Вот и всё у вас так: молитесь, а на что молитесь, не знаете...

Надоело мне, устал.

Гладков поворачивается, спускается с кафедры, растирая кисти рук.

– Мы вас не отпускали, подсудимый! – громким металлическим голосом останавливает его председатель Трибунала.

– Так я пока не арестован, – садится в первый ряд зала проявленный враг народа. – Я пока свободный человек.

– Это ненадолго, – успокаивает его благочинный и объявляет: – Трибунал удаляется на совещание.

Крайне редко случается, что окончательный вердикт не оглашается сразу после публичного рассмотрения дела. Ну так и случай из ряда вон, нужно признать. Вопиющий случай, громкий. Завтра всем департаментом придётся думать, какую рекомендацию по нему наверх подавать. И с

Элей бы посоветоваться не мешало вечером. А ведь уже половина одиннадцатого.

Устраиваемся за длинным столом совещательной комнаты. Олег Антонович достаёт пачку сигарет, вопросительно смотрит на председательствующего. Тот устало машет генералу в сторону дальнего окна с открытой форточкой, спрашивает:

– Какие будут мнения?

– Тюрьма, какие ещё мнения могут быть! – сразу срывается на повышенный тон завуч Стороженко. – Это же враг, настоящий враг, он даже не скрывает этого. Перед Трибуналом не скрывает!

– Это всё верно, Нина Тихоновна, но мы Общественный, видите ли, Трибунал, – напоминает судье благочинный. – Мы людей в тюрьму не отправляем, мы только предъявляем частные деструктивные случаи широкой общественности и даём согласованную рекомендацию для дальнейшего реагирования соответствующим органам.

– Ой, перестаньте, отец Андрей, – машет на него рукой Стороженко. – Как скажем, так и будет: и тюрьма этому Гладкову будет, и конфискация, и поражение в правах. Давайте уже подписывать рекомендацию прокурору – и по домам, время позднее.

Председательствующий согласно кивает, спрашивает для проформы:

– Кто ещё желает высказаться?

– А если ограничиться административным воздействием? – вдруг невпопад бросает Тейков. – Понижением в должности, предельным штрафом и присвоением статуса иноагента с поражением в правах на пять лет. Я бы такое предложение внёс.

Хоккейный болельщик другого болельщика видит издалека. Не случайно болельщик от слова «болезнь», совсем не случайно.

– Не поддерживаю, – председатель Трибунала почти не выказывает своё удивление позицией Тейкова и голосом строг и непреклонен. – Плохой пример подадим обществу. «И призвал Господь двенадцать учеников своих, и дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Нечист духом этот Гладков, бесноватый он, и врачевать эту духовную немощь нам должно калёным

железом, чтобы других малых сих бесы подрыва государственных устоев не обуяли.

Вот и благочинный про болезнь очень к месту сейчас. И про бесноватость эту опасную гладковскую.

– Хорошо вы про врачевание помянули, отец Андрей, – докурив сигарету, возвращается за стол генерал Семёнов. – Только вот что я вам всем доложу: дефицит квалифицированных медицинских кадров в области подходит к тридцати процентам. Доврачевались то того, что в деревнях людей лечить некому. Так давайте ещё одного доктора в каталажку упрячем, то-то нам болящие в ножки за это поклонятся, поблагодарят душевно... Я в целом, согласен с Тейковым, но предлагаю дополнить его рекомендацию предложением отправить этого Гладкова служить в какую-нибудь отдалённую районную больницу. Пусть своим делом занимается, а не тапочки на зоне шьёт. Согласен, Егор Васильевич?

Не ожидавший поддержки своего крамольного предложения со стороны генерала, Тейков энергично кивает. А что ему, собственно, остаётся: хотел для очистки своей хоккейной совести внести заведомо непроходное предложение, а потом, пожав плечами, согласиться с вердиктом, принятым большинством? И рыбку, как говорится, съесть, и в лужу не сесть. Ну вот, а теперь, получается, Трибунал может вынести, считай, оправдательный вердикт по неприлично громкому делу. Кто внёс такое предложение? Тейков внёс. А то, что поддержал его начальник управления ФСБ, так он только поддержал. Кто ж знает, из каких специфических соображений, так вам генерал и отчитываться станет за свои решения. Попал ты, друг ситный Егор Васильевич, со своим хоккеем в переплёт, вон как на тебя теперь завуч Стороженко возмущённо косится, у ней не забалуешь.

– Я так понимаю, голоса членов Общественного Трибунала разделились, – подвёл предварительную черту председатель. – Осталось узнать мнение уважаемого Петра Вадимовича – и будем оформлять вердикт. Действительно, засиделись сегодня.

Чёрт бы его побрал, этого Гладкова, да простит меня благочинный за внутреннее поминание нечестивого. И как тут быть? С одной стороны, это т чёртов доктор реально наговорил и наделал свои непочтительным си

дением себе на тюрьму. Вот пусть и посидит теперь в лагере, а не в комфортном кресле болельщика в ледовом дворце «Звезда». Потому что заслужил.

С другой, не случайно Семёнов пошёл поперёк мнения отца Андрея: что-то здесь не так просто, что-то стоит за чрезмерной вольницей генерала, что-то я упускаю. И балбеса Фёдора он вспомнил сегодня совсем вроде бы некстати, с определённым намёком вспомнил. Сцилла, так сказать, и Харибда у меня тут нынче. Хоть разорвись, как в том анекдоте.

Интересно, что бы Эльвира решила при таком раскладе? Вот уж у кого житейское и политическое чутьё развито на уровне звериного инстинкта. А решила бы моя ненаглядная умная супруга, пожалуй, так: поддержать Тейкова и Семёнова сегодня – крайне рискованная партия при многих неизвестных, стоит от неё дистанцироваться. Безусловный крамольник Гладков по всем существующим канонам борьбы с деструктивными общественными проявлениями заслуживает самого сурового наказания. Вот так. Без гнева и пристрастия. На то мы и Трибунал. Спасибо, Эля.

– Так что, Пётр Вадимович, в тюрьму докторишку этого или в деревню, больных пользоваться? – нетерпеливо улыбается не сомневающаяся в своей истинной правоверности судья Стороженко.

– В тюрьму, Нина Тихоновна, конечно, в тюрьму.

На кухне горит свет. Не спит радость моя Эльвира Александровна, ждёт запозднившегося супруга, несмотря на то что часы в коридоре показывают почти полночь. Сейчас откроем бутылочку «Мукузани», обсудим последние семейные и прочие события, наговоримся вдоволь.

Сажусь за стол, распускаю узел галстука, оцениваю высокий стиль Эли, ждущей меня в полночный час при полном вечернем параде, макияже и с особым блеском глаз.

– Не поверишь, Эля, какой у нас скандал сегодня случился в Трибунале, – открываю бутылку вина в предвкушении похвалы супруги за правильно принятое решение по подсудимому Гладкову. – Пошёл, значит, один доктор на хоккей...

– Подожди, Петя, – прерывает мой рассказ супруга. – Я днём собирала всех за обедом, чтобы сказать вот что...

– Да, конечно, давай начнём с тебя, совсем забыл, – приглашающе поднимаю за тонкую ножку бокал с плотным тёмно-красным вином. – За тебя, радость моя.

– И за тебя, – Эльвира делает небольшой глоток, ставит бокал со стекающими по прозрачным стенкам нежно-розовыми разводами. – Я ухожу, Пётр.

– Куда? – интересуюсь, до невозможности глупо улыбаясь.

– Совсем ухожу, Петя. От тебя. Прости, время позднее, окончательное выяснение отношений оставим на потом.

Эля выходит в коридор, выдвигает из чемодана длинную ручку, везёт его через дверь к лифту. Ничего не успеваю понять.

– Подожди, давай такси вызовем.

– Не беспокойся, меня внизу Виталий ждёт в машине.

– Какой Виталий?

– Хорт.

– Ты к нему уходишь?

– Да.

Лифт равнодушно раскрывает створки дверей. Потом закрывает. И больше ничего нет.

Глава 6. «Жизнь как пройденное поле»

Мягкие руки чуть трясут меня за плечо, вытаскивают из ушей мнемонаушники. Клепсидра участливо заглядывает в глаза:

– Как прогулялись, Пётр Вадимович? Хорошо себя чувствуете? Лежите, давление сейчас вам смеряю.

Хранительница прошлого привычно закатывает мне рукав, накладывает манжету тонометра.

– Я б ни за что в тридцатый не погрузилась бы. Ох, тяжёлое время было аккурат перед Сепарацией. Потом хоть война, но по мне так страху уменьшилось в людях. Да и жить посытнее стало нам в деревне: военная паёвка всем норму продуктов гарантировала, а по талонам доберись ещё в райцентр до этого пригласительного салона из нашей глухомани. Мамка, помню, два раза ездила в очередях стоять, да и бросила потом совсем. Уж лучше со своего огорода жить, чем бояться слова лишнего сказать

ь в этом Северолесске, где отца и забрали в том самом тридцатом: вначале в лагерь, а потом, понятно, на фронт... Сто сорок на девяносто у тебя, батюшка. Это ничего, это к вашему возрасту совсем применительно. Полежите пока, Пётр Вадимович, не вставайте, я сейчас таблеточку от давления принесу.

Клепсидра подхватывает под мышку большие песочные часы с пустой верхней полусферой, уходит на свой медицинский пост. А я закрываю глаза, пытаюсь сохранить в себе быстро утекающие из сознания те давние ощущения, которые так ярко дарит мнеморий.

Нет вопроса, почему мне был выдан именно тот день из далёкого тридцатого года: мозг неосознанно выбрал наиболее яркое событие заданного хронологического отрезка. День потери Эли, после которого жизнь пошла совсем другим чередом. Не заседание же этого Трибунала, где мой голос решил судьбу строптивного Гладкова, повесившегося потом в следственном изоляторе. Вот, даже это сейчас вспомнил, благодаря мнеморию, отчётливо вспомнил, как на очередном заседании мне про смерть доктора сообщил генерал Семёнов и как странно посмотрел прямо в глаза, как улыбнулся кривенько.

Нет, не Гладкова в качестве главного события показал мне мнеморий, что за ерунда? Эльвиру, конечно, её быстрое прощание со всей нашей прошлой жизнью. Самое страшное в том году. Даже Сепарация, которая началась тогда же в декабре, не стала для меня более важным событием, хоть и сгинуло потом в той войне два миллиона человеческих жизней. Или три – политики до сих пор спорят о цифрах. Но то глобальное историческое событие в моей личной памяти не идёт ни в какое сравнение с уходом Эли...

Хорошее сегодня погружение было: горькое, но правильное, многое объясняющее.

Скорее бы вернуться в свою комнату-палату, записать яркие впечатления от того дня для грядущей книги «Жизнь как пройденное поле». Название внук Серёжка подсказал, очень он меня с идеей изложения семейной истории на историческом фоне поддерживает, молодец. Потому что и у него свои внуки когда-нибудь будут, а у тех затем новые народятся. Вот и пусть знают, как всё было на самом деле, а не как им потом тогда

шие историки расскажут. И не расскажут, а наврут. А я не вру, мнеморий соврать не даст, такое уж это изобретение человечества.

– Вот, примите таблеточку, Пётр Вадимович, водичкой запейте, – Клепсидра усаживает меня на лежбище, протягивает стакан. – Давайте я вас до лестницы провожу, обед уже скоро.

– Спасибо, Матвеевна, – беру из рук Клепсидры свою трость, потихоньку выпрямляю хрустящие суставы. – Пойдём, пожалуй, да.

До лестницы так до лестницы.

Электронный таймер показывает точное время: 2050-й год, 7 августа, 12 часов, 43 минуты, 16 секунд. До обеда, считай, четверть часа осталось. Действительно, нужно бы поторопиться.

Погружение второе. 51

Глава 1. Берта

– Нет, как-то не отложилось, – Берта прикуривает сигарету, сосредоточенно смотрит на дымок, поднимающийся строго вверх над скамейкой парковой зоны нашей богадельни.

Безветренный сегодня денёк, душный. Должно, к грозе дело, соберётся к вечеру.

– Серёжа песню тогда в садике разучил «Вырасту солдатиком», – пытаюсь в точности пересказать увиденное вчера в мнемории. – А Федя твой бутылку коньяка в одного выдул за семейным обедом.

– Вот же ты нашёл особую примету, – усмехается дочь. – Как будто в другие дни он пил меньше... Нет, папа, не помню. Это для тебя тогда мир перевернулся, а я знала, что мама к Хорту уходить собирается, был у нас разговор с ней до этого. Да я тебе рассказывала.

– Рассказывала, да. А всё же странно, что ты тот день совсем не помнишь.

– И ты бы не вспомнил, если бы в мнеморий не сходил... Ладно, пойду продукты тебе в холодильник отнесу: тут йогурт, манго твои любимые, и да, сало купила на рынке копчёное, как ты любишь. Порезала уже, в морозильнике найдёшь, будешь на обед брать в столовую, бутерброды себе сделаешь. Посиди тут, я скоро.

Дочь выбрасывает докуренную сигарету в урну, идёт в мой корпус с полиэтиленовым пакетом, полным всяких этих, как их... Ну, такое ещё называлось в дни моей молодости... Как же его? Беляков? Кругляков? Вспомнил: ништяков. Смешное слово, трудно забыть. Хотя какая тут трудность, себя скоро забудешь, будешь сидеть овощем и переведут тебя в третий корпус – вон, как эти сейчас там сидят у входа, рядом в своих креслах на колёсиках, на солнышке греются. И никакой мнеморий им уже не поможет, да им и так хорошо.

А Берточка молодец, два раза в месяц приезжает навещать отца, новости и семейные рассказывает, как жизнь за забором течёт докладывает. Нет, хорошая дочь выросла, грех жаловаться. Как Федю прибрали на исправление на второй

год Сепарации, так жизнь у неё колесом в гору покатила, как будто непутёвый зять вниз тянул, назад. А не стало его, всем сразу облегчение вышло: и Берте, и Серёже, да и мне, что уж тут скрывать. Но моя-то карьера тогда уже на закат повернула, а вот дочь на верную дорогу встала: и по партийной линии двинулась, и вовремя из вольных художников в школу искусств ушла работать. Сейчас завуч уже там, отличник партийного строительства, заслуженный работник просвещения, всё как положено.

Замуж только с тех пор так и не вышла, но тут уж никто не виноват, сама себе хозяйка. Всё лучше, чем с этим обормотом Фёдором жить или с другим каким, ему подобным.

Явился бывший зятьёк после Сепарации в 2042-м: реабилитированный по ранению, два ордена Путина второй и третьей степени, протез вместо левой кисти. Показался на Сержика посмотреть да себя показать. Ну, посмотрел на сына, в кино с ним сходил, мороженым угостил. А второй раз уже когда пришёл, так на ногах еле стоял во дворе, матом крыл и меня, и Элю-покойницу, и Синклиту перепало, и проэдру Строгову – всем досталось. Ну и замели голубчика тут же у песочницы: как ветерану поблажку дали, на поселение отправили куда-то на БАМ, так с тех пор ни слуху ни духу от Феди. Да оно и к лучшему.

После Сепарации инвалидов на улицах, казалось, что каждый второй – и то, страшная война была, дай бог, чтоб последняя. Бабушка Граня, пок

ойница, чуть не каждый день говорила, когда я маленький был, крестясь зачем-то: «Лишь бы не было войны». Не дожила бабуля ни до чеченской, ни до украинской, ни до Большого мятежа, ни до Третьей мировой, которую велено называть теперь не иначе как Сепарацией. Ну а как ещё, если в результате поделился мир на чистых и нечистых.

С нечистыми понятно – проклятые маскианцы, что с них взять, с прогрессоров, но и с победившими традиционалистами тоже не сказать, что всё гладко меж ними. Нет, Святороссия, слава Синклиту, твёрдо стоит, опираясь на крепкое китайское плечо, а вот так ли прочно дружим мы нынче с Объединённым Югом и Большим Западом, сразу тут, за забором, и не поймёшь. Народу телевизор, понятно, всё скормит: и Планетарную космозащиту, и ежегодные торжественные встречи лидеров ОЮ, БЗ и СССР, но я-то не народ, мне положено любой сигнал считывать из новостей правильно, с пониманием текущего момента.

А там то Максвелл таможенные пошлины повысит на товары из Священного Союза Святороссии и Китая, то Нкомо усилит военную группировку в пограничном Тибете: а против кого, спрашивается? От Тибета до Манилы – ближайшего форпоста вражеской Федерации Оси – тысячи километров, а союзная Китайская Республика – вот она, сразу за Джомолунгмой.

Неспроста всё это, хоть председатель Лян Цзяхой и заверил сегодня своего друга проэдра Строгова, что поводов для беспокойства нет, но и проинформировал о решении провести совместные учения вооружённых сил Китая и Святороссии в Тибетском автономном районе. Вот и думай теперь.

А о чём нам, старикам, ещё думать? Только о том, что и баба Граня говорила: «Лишь бы не было войны». Может, и не будет, может, и хватит уже. Старики правят миром: Строгову – 75 лет, Максвеллу – 77, Нкомо – 72, а диктатору прогрессоров Илону Маску вообще 79. Вроде как мудрости должны были накопить к своим-то годам, а всё им неймётся – один стремится человечество на Луну переселить, другие на орбите за маскианскими челноками охотятся. Эх, люди, люди, когда уже вы только угомонитесь?

– А что, Берточка, на партсобраниях у вас говорят: ждать конфликта в Тибете или не ждать? – спрашиваю вернувшуюся обратно на скамейку дочь.

– Тебе не всё равно, пап? Хватит уже переживать за судьбы мира, живи себе здесь спокойно: на солнышке грейся, питайся хорошо, в мнемории вон ходи хоть каждый день. Голова бы у меня болела за этот твой Тибет.

– Ну как же, дочь? За Сержика сердце болит, а ну как война опять? Мобилизуют, автомат в руки – и в окоп китайский, СССР защищать. В Сепарацию мал ещё был, а сейчас-то самый призывной возраст. Вырос, понимаешь, солдатиком, срочную отслужил – теперь в военкомате на вечно м учёте.

– Перестань, не выдумывай, – Берта нажимает на телефоне кнопку вызова таксидрона. – Он нынче в отпуск на Байкал собирается, а там в сезон очень недёшево, прямо очень. Думаю, кредит взять хоть тысяч на пять юаней, вот о чём у меня голова сегодня болит, а не про Тибет твой... Ладно, такси прилетело, пойду. Всё, береги себя, Серёжка обещал на днях к тебя заглянуть.

Дочка чмокает меня в лоб, спешит к калитке, за которой парковочная площадка для летающих такси. Удобно и недорого: всего юань за километр. Ну, для тех, кто может себе позволить.

А я – да, в мнеморий, как Берта присоветовала. Там хоть сложное, но прошлое, не то что это непонятное будущее.

– Так куда поедет-то нынче, Пётр Вадимович? – Клепсидра смотрит ласково, выжидательно, поправляет подушку под головой на моём лежбище.

– А поедет мы, Матвеевна, в двадцатые, – решаюсь я наконец.

Уверен, что отправит меня мудрёный агрегат в тот самый день, в который возвращаться память никак не хотела все минувшие с той поры двадцать шесть лет, больше некуда. Значит, так тому и быть.

– Смелый ты человек, Пётр Вадимович, – качает головой Клепсидра. – Всё тебя в самые лихие годы тянет. Ну, как скажешь.

Уходит, привычно задёрнув шторку в кабинке. Любой год у неё лихой, с

морти-ка. А может, так оно и есть? В смысле, было.

В наушниках начинает звучать робкий, но громкий шум ночного дождя, я закрываю глаза, зная, что открою их уже совсем не здесь.

Глава 2. Без «Традесканции»

Смотрю на себя в зеркало: морда заспанная, щетинистая, зевающая. Ладно, нужно просыпаться окончательно, в порядок себя приводить: последний день командировки – он долгий и трудный самый, известное дело. Нет, крайний день, не последний, – вот вернёшься отсюда домой в Зареченск, тогда и будешь говорить по-человечески. А здесь води себя как люди: они не дураки, они который уже год в войне живут, может, потому и живые сейчас, что говорили «крайний» вместо «последнего», а те, которые с литературным русским, все и кончились уже. Война – штука такая, хитрая, у неё свои законы, хоть в окопе, хоть в разговоре.

Даже название самого города Стаханов взять: местные нет-нет да собьются, назовут его по-старому Кадиевкой, правда, тут же поправятся, оглянувшись опасливо, – нынче время военное, за прошлое украинское название недолго и в контрразведку угодить. А ну как ты щирый заукраинец, который только и ждёт, пока ВСУ вернутся тебя освобождать?

Но привычку так сразу не вытравишь, хоть давно уже Стаханов свободный от бандеровского режима город, вернувшийся в лоно матушки-России. Потому и шефствует сейчас далёкий сибирский Зареченск над бывшей Кадиевкой, и сам ты, Пётр Вадимович, сейчас здесь в качестве руководителя гуманитарного конвоя, доставившего не только два КамАЗа цемента, три фуры продуктов с медикаментами да грузовую «газель» с дронами и бронежилетами, но и творческий десант зареченских деятелей культуры, который через три часа начнёт оказывать шефскую помощь на сцене местного ДК. Финальный, так сказать, аккорд пятидневной командировки. Завтра утром автобус в Ростов, оттуда бортом Ил-76 обратно на родину.

Хорошо, что в Зареченске на военном аэродроме базируются два «развозных» тяжёлых транспортника, и командование авиаполка легко идёт на доставку попутных грузов гражданского назначения в зону СВО по просьбе губернатора. Иначе пришлось бы дней пять ехать из Сибири на

Донетчину в машине, да обратно столько же. Разговоришься об этом на каком-нибудь межрегиональном совещании с коллегами из других областей, так они все обзавидуются. А так, колонна сама по себе, я с интеллигенцией отдельно. В Стаханове груз принял, вручил его в торжественной обстановке местному чиновничеству, передал дроны по назначению представителям батальона «Авангард», осталось шефский концерт сегодня провести – и всё, свободен.

Ладно, морда чисто выбрита, можно чашку кофе себе заварить растворимого, благо администратор гостиницы «Шахтёрская» выделила от щедрот электрический чайник в номер. И пора уже звонить в местную мэрию, чтобы через час прислали микроавтобус, доставить зареченских артистов в Дом культуры. Господи, как всё это надоело...

Аккуратный, но сильный стук в дверь:

– Здравствуйте, – ладный офицер в полном боевом облачении держит ладонь у виска. – Майор Соколов. Прибыл в ваше распоряжение по приказу командира бригады. Разрешите?

– Доброе утро, разрешаю, – в некоторой растерянности сторонюсь, пропуская военного в номер.

Тот проходит, выставляет на стол из камуфляжного рюкзака бутылку коньяка, достаёт лимон, режет его каким-то грозным армейским ножом тонкими дольками, выкладывает аккуратно на блюде, посыпает сверху солью из разового пакетика, прилагаемого к сухпайку (доводилось видеть такие), из кожаного чехла вынимает две походные металлические рюмки, наливает в них коньяк, выпрямляется, окидывает взглядом художника-викинга быстро сооружённый натюрморт, констатирует:

– Нормально. Прошу, Пётр Вадимович, – благородным жестом приглашает меня к столу.

– Ничего не понимаю, – пытаюсь придать голосу начальственной строгости. – К чему весь этот взрослый утренник?

– К тому, что наша бригада сегодня ночью в Торецк зашла, в Дзержинск, в общем, – улыбается всеми своими здоровыми белоснежными зубами бравый майор. – Не грех это важное событие с земляком отметить.

– Поздравляю, – что ж тут поделаешь, от такого предложения отказаться

я невозможно. – А вы, значит, тоже наш, зареченский?

– А как же! – зареченский викинг поднимает рюмку, чокаемся. – Из Нефтов, 63-я школа, выпуск 2012-го года. За успех нашего безнадёжного дела!

Лимон с солью приятная закуска к коньяку, оказывается. Необычный вкус. Впрочем, сама ситуация тоже необычная, нужно бы её максимально прояснить.

– Это замечательно, но причём здесь моя скромная персона?

– Ещё как причём, – майор наливает по второй. – Батальон «Авангард» первым вошёл в Дружбу, пригород Торецка, то есть, Дзержинска, это во-первых. Во-вторых, хотелось бы лично выразить благодарность за регулярную поддержку амуницией и гуманитаркой землякам в вашем лице. В-третьих, комбриг полковник Храмцов тоже из Зареченска, с Чкаловского посёлка. Вот, приказал обеспечить ваше обязательное прибытие на сегодняшний концерт, который собирается посетить, несмотря на непростую боевую обстановку.

Майор наливает по третьей.

– Да я и так там бы был по долгу службы.

– Ну, всякое бывает. Война есть война. Я тут на подстраховке, так сказать, на всякий непредвиденный случай.

– Понятно, – соглашаюсь на всякий случай, протягиваю рюмку чокнуться с неожиданным утренним гостем. – Как вас звать-величать прикажет е?

– Звать-величать меня Игорем, Игорем Валентиновичем, если угодно, – майор убирает свою рюмку от моей протянутой, отрицательно качает головой. – Третий тост, нельзя.

Встаёт во весь свой викингский рост, ждёт, пока я последую его примеру, командует:

– Ну, за зареченских, которые никогда уже не поднимут свою рюмку вместе с нами!

– Светлая память, – присоединяюсь к фронтовой традиции, которой хочешь не хочешь, а приходится тут следовать.

– И каков же теперь у нас дальнейший план действий, Игорь Валентинович? –

мне уже действительно интересно.

– Да просто Игорь, мы же не в строю здесь, – отмахивается майор. – Машина внизу. Сейчас поедem в Дом культуры, там встретимся с комбригом, заслушаем его распоряжения. Есть у меня одна идея на счёт вас, думаю, полковник одобрит, да и вам понравится.

Не факт, не люблю экспромтов, но это потом.

– А как же мои подопечные? Я ещё не успел позвонить в мэрию, транспорт им заказать.

– У гостиницы два бэтэра, доставим ваших артистов в лучшем виде. Да им самим обычно хочется прокатиться на броне, не сомневайтесь. Подходит?

– Вроде подходит.

– Тогда собирайтесь, жду вас на улице.

Майор Игорь ловко укладывает рюмки и коньяк обратно в рюкзак, прихватывает поставленный в угол автомат, блестящий свеженьким чёрным стволом, выходит из номера, кажется, похрустывая ладной с иголочек и форменной экипировкой. Что ж, и мне пора.

Необычно всё это, не люблю сюрпризов.

«И солнце жарит, чтоб оно пропало,
и нет уже судьбы у нас другой.

И я кричу: «Давай, Виталий Палыч!

Давай на всю катушку, дорогой!»

Громкий гитарный аккорд и взрывной в этом месте голос певца вызывают у микрофона неприятные эмоции, он начинает фонить, и заслуженный артист России, актёр зареченского Драматического театра Евгений Кравцов зло обращается к звукорежиссёру Леониду Яковлевичу Быстренькому:

– Лёня, ну сделай же что-нибудь! Третий раз исполнить нормально не могу, а до концерта сорок минут уже осталось.

Флегматичный Быстренький что-то подкручивает на своём пульте, успокаивая нервного артиста:

– Женя, не психуй. Сейчас мы ещё низы уберём, и всё у тебя получится. Только попробуй поглуше в этом месте, не в караоке выступаешь.

– Да лучше бы в караоке!

– Там, Женечка, тебе хрен бы заплатили и маслом его сверху намазали.

А здесь ты за две песенки две месячные зарплаты получишь. Так что слушай меня, а не свой внутренний голос: он тебе ничего хорошего не скажет, а дядя Лёня скажет. Верно я говорю, Пётр Вадимович?

Усмешливо оборачивается ко мне Леонид Яковлевич, с которым мы уже третий раз в Стаханове, а Кравцов впервые здесь в командировке, потому и нервничает. Впрочем, он по жизни нервный.

– Верно, Лёня, верно, – поддерживаю успокоительную интонацию Быстренького. – Давайте завершать репетицию, скоро публику в зал запускать будут.

Звукорежиссёр понимающе кивает, продолжает работу по убиранию низов. Собственно, только Кравцова номер и осталось прогнать. Эквилибристы Савченко сцену опробовали, солисты музтеатра Велешева и Паник дуэт из Сильвы озвучили, танцевальный коллектив «Междометие» (почему «Междометие»? что за «Междометие»?) свою «Калинку» сплясал, поэт Ростислав Ворогов ничего не читал, но ему и не нужно: он свои стихи с телефона листает, не собьётся. А если и собьётся, то публика его простит, потому что смысла в вороговских рифмах не сказать что чрезмерно, он больше эмоцией берёт, так что не страшно. А вот и он собственной персоной меж рядов пробирается, садится в соседнее кресло.

– Позвольте, Пётр Вадимович? – умоляюще подносит молитвенно сложенные ладони к своей кустистой рыжей бороде, лежащей поверх свитера с оленями, всегда надеваемого поэтом на счастье перед выступлением на публике. – Я буквально на минутку.

– Что случилось, Ростислав Сергеевич?

– Ничего сногшибательного, не волнуйтесь, – Ворогов с размаху прижимает ладонь к честному сердцу поэта. – Я ночью стихотворение «Перекур» изложил. Не спалось, знаете, фронтовая обстановка довольно волнительна. По-моему, получилось очень неплохо. Я понимаю, что текст выступления утверждён и согласован, но в исключительных случаях можно послать к чертям все согласования! Ведь в поэзии важна актуальность, соответствие моменту времени – и вот он этот момент: прямо здесь, на войне, родились очень точные строки. Вы послушайте, послушайте:

Воет ночь, словно стон иноходца,
птицы бешено мчатся на юг.
Где вы, руки далёких подруг?
Где ты, мирное доброе солнце?

Под прицелом чужого огня
мы лежим в пошлой смерти объятиях.
Где ты, девочки синее платье?
Где ты, друг, закалённый в боях?

Я отсыплю махорки тебе,
засмолю и себе самокрутку.
Может, жить нам осталось минутку,
может, будет угодно судьбе

примиришь нас с землёю донецкой,
ставшей нашей с тобою вполне.
Мы опять на высокой волне...

– Извините, что перебиваю, – майор, как его, Соколов уже минуту стоит рядом в центральном проходе зрительного зала, слушает экзальтированное творчество поэта. – Но махорки я за всю свою жизнь в глаза не видел и в руках не держал, и здесь про неё никто не слышал.

– Но параллель с Великой Отечественной, – начинает вскипать Ворогов.
– Позвольте пояснить...

– Не позволю, Ростислав Сергеевич, – прерываю ненужные долгие разъяснения смысла вороговского творчества. – Слушайте, что вам реальный военный говорит. К выступлению стихотворение не утверждаю. Ворогов встаёт, надменно кланяется и пробирается между рядами к выходу.

– Виноват, – сокрушается ему в спину майор Игорь Валентинович, оборачивается ко мне. – Зря я ему про махорку... Комбриг вас ждёт, Пётр Вадимович, прошу за мной.

В буфете с углового кожаного дивана за столиком поднимается навстречу сухой невысокий полковник совсем небоевого вида, в отличие от с

опровождающего меня майора. Но рука у него, как тиски, после такого дружеского рукопожатия можно без пальцев остаться.

– Полковник Храмцов Валерий Алексеевич, – представляется командир бригады, спрашивает дежурное. – Как там Зареченск, стоит?

– Куда он денется? Стоит.

– А ты чего стоишь, комиссар? – удивляется комбриг. – Шустренько давай, у меня десять минут всего... Извините, на концерте присутствовать не смогу.

Это уже мне. А тогда зачем ты здесь, полковник Валерий Алексеевич? Ладно, сейчас все само разъяснится под обязательный коньяк, который Игорь уже выставил на стол – и недопитую нами с утра бутылку, и вторую, непечатую. Ну и лимон с солью, разумеется. И три рюмки.

– За встречу! – объявляет полковник.

За встречу – это святое, тем более, с приятными людьми мужественной профессии. С утра не выпил – день пропал, известное дело. Да и хрен с ним, завтра уже буду дома, а сегодня можно расслабиться.

– Не будем тянуть кота за яйца, – кивает на пустые рюмки майору полковник Храмцов. – Предлагаю тост за наше общее грядущее мероприятие.

– Какое мероприятие? – уточняю чисто из вежливости, потому что не могут же эти симпатичные командиры придумать что-то нехорошее, неприятное.

– Докладывай Петру Вадимовичу свою идею, замполит, – полковник закусывает лимоном, морщится – то ли от вкуса, то ли от необходимости пояснения гражданскому очевидного. – Майор у нас в бригаде человек новый, необстрелянный, но инициативный. Из всех сил рвётся доказывать свою небесполезность. Вот, представился случай. Проверим.

– Тут идея такая, Петр Вадимович, – Игорь опять наполняет рюмки. – Вы же сюда приехали с шефской помощью батальону «Авангард», так? Поддерживать земляков морально, материально, ну и прочее. Дело правильное, нужное, единение, так сказать, фронта и тыла. А у нас свой интерес: ГВПУ – Главное военно-политическое управление или Главпур, если по-старому, – оценивает войсковые соединения по специальным показате

лям, одним из которых является освещение работы бригады на федеральных каналах.

Комбриг Валерий Алексеевич выразительно смотрит на свои наручные часы. Недешёвые, нужно сказать.

– Заканчиваю, товарищ полковник. В общем, было бы неплохо, если бы вы с артистами выступили как бы прямо на передке. Там будет ждать съёмочная группа телеканала «Звезда», с ними я уже договорился.

Вероятно, моё лицо изобразило что-то такое, что заставляет комиссара бригады внести окончательную ясность:

– Не на ноль, конечно, поедem. До Зайцево, где сейчас штаб батальона. Там до передка ещё, считай, двадцать километров. Никакой опасности, гарантирую. Зато будет реальный личный состав, отличная картинка. Мы там ещё бутафорскую небольшую войну устроим, вернётесь героям и. Ну и бригаде сюжет в зачёт пойдёт. Как, согласны?

Я же говорил, что не люблю сюрпризов? Ну и вот.

– Как вы себе представляете там выступление танцевального коллектива? Или хоть эквилибристов братьев Савченко? Я не представляю.

– И не нужны нам танцоры с эквилибристами, – убедительно соглашается майор. – Вы скажете речь, передадите дроны комбату в руки, а потом пусть ваш артист бойцам песню под гитару споёт. Делов-то на десять минут.

– Даже не знаю, – мне не то чтобы страшно, просто это же морока на целый день: переться непонятно куда, потом обратно, вместо того, чтобы после концерта традиционно выпить водки на прощальном банкете от стахановской мэрии и вечером спокойно ехать на ростовский аэродром.

– И потом, не факт что Кравцов согласится.

Полковник достаёт из кармана бумажный пакет, придвигает его по столу ко мне. Замполит поясняет:

– Сто тысяч вам, сто тысяч артисту. За лишние хлопоты.

Комбриг Храмцов встаёт из-за стола, прощается своим железным рукопожатием:

– Значит, договорились. Комбат команду получил, встретит вас в лучшем виде. Майор, штабной «ниссан» и два бэтэра сопровождения в вашем распоряжении до восемнадцати ноль-ноль. И чтоб без лишней самодея

тельности. Будьте здоровы, Пётр Вадимович.

На сцене под регулярные команды «ап!» крутят ногами предметы своего эквилибра братья Савченко, а за кулисами после выступления расслабляется с фляжкой виски заслуженный артист России Евгений Кравцов, слушает моё предложение с предсказуемой гримасой безразличия:

– И за сто тысяч не поеду, уважаемый Пётр Вадимович. Зачем мне это на старости лет? Я артист, а не клоун, чтобы меня, как циркового медведя, по балаганам на верёвке водили. Нет уж, увольте.

– Вы и правда считаете воюющую армию балаганом? – вкрадчиво вступает в разговор майор Игорь Валентинович.

Слегка смутившийся Кравцов не успевает подобрать правильный ответ, поскольку в разговор врывается поэт Ворогов:

– Я, я поеду, Пётр Вадимович! Не за деньги, а от души! Мне нужна эта пьянящая атмосфера реальной опасности. Поэт обязан пропускать через себя время, тем более, такое трудное, сложное, непредсказуемое. Возьмите меня, товарищ майор, не подведу, обещаю!

Замполит с сомнением смотрит на Ворогова, что-то прикидывает в голове.

– Нам бы, конечно, лучше картинку с музыкальным видеорядом, но раз такой случай... Ладно, пусть будет поэт.

– Позвольте, – возмущается артист Кравцов. – Мне первому поступило это предложение. Я с гитарой, и репертуар имею соответствующий.

– Поздно, Женька! – торжествует Ворогов. – Усвистел твой гонорар, не воротишь.

– Но вы же считаете выступление перед бойцами на передовой балаганом, не так ли? – будто бы удивляется Кравцову майор.

– Это я сгоряча, не подумав, – зачехляет инструмент в дорогу артист, встаёт. – Уже готов.

– Но вы же мне обещали, товарищ майор! – поэт оскорблён в лучших чувствах, расстроен до невозможности.

– Тебе на сцену сейчас, Ростислав Сергеевич, – напоминаю поэту под жидкий аплодисмент публики эквилибристам Савченко о его прямых обязанностях в этой командировке.

– Ладно, есть у меня ещё сто тысяч заначки в своём фонде, – подводит черту замполит Соколов. – Пять минут вам на выступление и выезжаем.
– Я мигом, товарищ майор! – благодарно трясёт бородой поэт Ворогов.
– Я даже поэму «Традесканция» читать не буду!
Торопится под софиты на встречу с благодарной публикой. Временно благодарной, авансом.

Глава 3. В «Авангарде»

Сумки на колёсиках. Откуда их здесь столько? Мне казалось, что все они остались в более чем далёком прошлом – матушка с отцом, помню, на дачу с такими добирались в автобусе. И весь автобус был забит этими дачными колёсными сумками, в которых туда – рассаду, обратно – урожай. Всегда ненавидел эти автобусы, полные скучных стариковских разговоров, перекрикиваний через набитый битком салон: «Вера, ты молоко взяла? А хлеб не забыла?»

Нет уже ни отца, ни матери. Дача стоит полузаброшенная, никому особо ненужная, а сумки на колёсиках, похоже, все из России эмигрировали сюда, в бывшую Украину. Дымящуюся, разрушенную, зато свою. И на каждом километре по обочине разбитого асфальта бредут люди с этим и самыми сумками – старые, молодые, с детишками и без.

Велосипедисты ещё попадаются: не те шустрые, модные, загорелые, в пластиковых шлемах и солнцезащитных очках, что на велодорожках в Запорожье, а угрюмо вихляющие на своих древних драндулетах между восточками, с обязательным брезентовым рюкзаком за спиной. Многие останавливаются, пропускают наш несущийся на предельно возможной скорости джип – никаких эмоций, кроме вечной здешней усталости, только лицо отвернуто от пыли из-под колёс «ниссана». Впрочем, с нами ещё два бронетранспортёра, главная пыль, понятно, от них.

– Куда они все идут? – киваю майору Игорю на очередную тётку, везущую за собой сумку повышенной мобильности.

– Да куда угодно, – замполит бригады, не сбавляя скорости, прикуривает сигарету, возвращает обе руки на руль. – Пассажирских автобусов же нет теперь здесь, а у людей надобность родственников навестить или, скажем, пенсию получить осталась. Может, кому и ближе бы привычным

и грунтовыми по перелескам до соседнего райцентра добраться, но там на каждом шагу можно на мину наступить. Безопасно здесь только на фронтальных и рокадных шоссе, по которым движется военный транспорт. Ну как, безопасно? До первого дрона, конечно.

– То есть и сюда они долетают? – напряжённо интересуется с заднего сиденья заслуженный артист Кравцов.

– Редко, – успокаивает его майор. – РЭБ справляется, в целом.

– А не в целом? – зачем-то уточняет поэт Ворогов.

Да, мне тоже интересно.

– Вы бы лучше, Ростислав Сергеевич, достали там за спинкой мой рюкзак, а из него коньяк и налили бы товарищам по рюмке. Для успокоения нервов.

Поэт шумно возится, звенит посудой, сокрушается:

– Трясёт сильно, давайте остановимся, товарищ майор.

– Нежелательно.

– Почему?

– Нежелательно.

– Дурак ты, Ворогов, – объясняет Кравцов. – Дай сюда.

Делает добрый глоток прямо из бутылки, передаёт коньяк мне:

– Угощайтесь, Пётр Вадимович.

Дроны, значит. Что ж, угощусь, самое время. На выдохе протягиваю бутылку майору, тот отрицательно мотает головой:

– Мне вас ещё обратно везти. А вы допивайте, не стесняйтесь. Не крайняя бутылка в рюкзаке.

Поэт слушается, допивает, констатирует:

– Да, так веселее ехать. Долго ещё?

– Минут через двадцать будем на месте, – отвечает майор, затем поправляется. – Должны быть.

И все замолчали: веселье такое веселье.

Закрываю глаза – устал от монотонного пейзажа, от чёрного дыма во весь горизонт, от пыли, застилающей дорогу за впереди идущим бронетранспортером.

Сколько же я сегодня уже выпил с утра? Вначале в номере, потом в ДК с комбригом, теперь здесь. А из закуски один лимон с солью. Эля всегд

а говорит: «Пить пей, но закусывай!» Хорошо иметь мудрую супругу, по тому что женщине положено думать за всю семью, пока мужчина совершает подвиг. Я же сейчас совершаю подвиг? Для гражданского – пожалуй, да. Много кто нынче возит гумконвои на Украину, а вот чтобы так, на настоящем передке побывать, ни от одного мало-мальского чиновника не слышал.

Потому что все они тыловые крысы, вот почему. А мне потом могут медаль дать. Или орден? Нет, орден это если прямо на ЛБС побываешь, врагу в глаза посмотришь – тогда, конечно, орден. Ладно, медаль тоже хорошо: для биографии, для отметки в личном деле.

А Эльвире не говорить заранее, ни-ни. Пусть сюрприз будет для неё. Давно мы сюрпризами друг друга не баловали – ни в быту, ни в постели. Глядишь, практика такая наладится. Скорей бы домой: в душ – и к Эле под бочок. Обнять её в постели сзади, добраться ладонями до затвердевших сосков, потянуть вниз трусы...

Джип резко тормозит, голова чуть не влетает в лобовое стекло. За оседающей пылью проступают контуры двухэтажного здания, за которым тянется длинный бетонный ангар. Похоже на какой-нибудь механический заводик в отдалённом райцентре нашей губернии. Только здесь у входа в корпус натянута пыльная шуршащая маскировочная сеть, из-под которой выскакивает военный, печатает шаг к машине:

– Дежурный по штабу прапорщик Мячик!

– Веди нас к комбату, прапорщик, – принимает рапорт комиссар. – И распорядись бойцов моих накормить.

– Сделаем, товарищ майор. Прошу за мной.

Спускаемся по ступенькам в подвал здания. Из-за стола встают трое офицеров, навстречу выходит коренастый, плотный военный, весело прищуривая и без того узкий разрез глаз:

– Здравия желаю, товарищ Викинг! – называет майора предугаданным мною ещё в гостинице позывным, приветствует нас, гражданских. – Здравствуйте, товарищи зареченцы. Командир батальона «Авангард» Шорец, это начштаба капитан Стекло, замкомбата по военно-политической работе капитан Болт. Прошу располагаться.

Замполит бригады располагается за столом напротив комбата, мы с Кравцовым и Вороговым садимся на стулья у стены.

– Как обстановка в батальоне? – интересуется майор.

– Воюем потихоньку, – пожимает плечами комбат. – На левом фланге ночью два штурма отбили – я утром в штаб бригады докладывал. Третий день под давлением стоим. Огневые точки противника активны, наша артиллерия молчит почему-то. Птички летают. Обычная история.

– Ладно, вернусь – спрошу с начарта, – наш комиссар выглядит большой холёной моделью стиля милитари на фоне потёртого разноформенного командования батальона. – По нашей теме всё готово, майор?

– Да вроде всё, – Шорец кивает на капитана. – Докладывай, замполит.

Капитан Болт встаёт с докладом:

– Люди собраны, груз доставлен, телевизионщики час как приехали. Можно работать.

– Нам бы перекусить с дороги чего, майор.

– Обязательно, милости прошу, – комбат открывает боковую дверь, и мы оказываемся в небольшой комнате с накрытым закусками столом, за которым курят двое бравых мужчин в камуфляже с наклейками «пресса» и миловидная полноватая блондинка в погонах старшего прапорщика. При входе комбата блондинка лениво тушит сигарету в жестяной банке-пепельнице, встаёт, представляется:

– Командир медвзвода Косичка, – садится, кивает на застольных соседей – лысоватого юношу и высокого мрачного мужика. – А это наши друзья из телевизора – Санёк и Ромчик.

Угрюмый Ромчик никак не реагирует на ритуал, а лысоватый брюнет разливает по стаканам что? Конечно же, опять коньяк. Широким жестом приглашает присоединиться:

– За встречу на фронтовых дорогах!

Викинг как-то не очень добро разглядывает компанию, садится за стол, кивает нам: присоединяйтесь. Шорец угадывает настроение замполита бригады, говорит:

– Мы проследим за личным составом, собранным по случаю.

А начштаба Стекло извиняется:

– Люди полчаса уже ждут, а боевые задачи им никто не отменял. Капита

н, распорядись тут.

Дождавшись ухода комбата с начальником штаба, замполит батальона Болт распорядается:

– Подняли, опрокинули. Ленок, подкладывай гостям закуски.

Блондинка раскладывает нам в пластиковые тарелки нехитрые бутерброды, шутит:

– Некормленные артисты какие к нам приехали, худющие, – кивает на гитарный футляр Скворцова. – Песни исполнять будете?

– Обязательно, – начинает расцветать от положенного внимания публики заслуженный артист.

– А Розенбаума споёте? «Вальс-бостон». Я люблю.

– А стихи вы, Лена, любите? – не даёт ответить Евгению поэт Ворогов.

Но и ему не судьба дожидаться ответа, потому что мрачный оператор Ромчик говорит:

– Слушайте, давайте уже отстреляемся по-быстрому. Там и так света мало, и генератор уже два раза глох, пока мы здесь вас ждали.

Майор Викинг обрывает:

– Пока что я здесь команду! – обращается к младшему политическому комсоставу. – Докладывайте, Болт.

Капитан объясняет:

– Штабные, дроноводы, повара, санинструкторы в сборе. Отдыхающий караул тоже ждёт. Человек двадцать набралось. Товарищ майор, может, действительно отработаем да отпустим людей? А потом вернёмся, про должим обед уже спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой.

– Ладно. Готовы, товарищи зареченцы?

– Всегда готовы! – рапортует Ворогов, проглатывая остатки второго бутерброда. – Женька, ты первым выйдешь, а я закрою концерт.

– Почему это ты закроешь? – сразу крысится Кравцов.

Я не даю разгореться привычному скандалу:

– Вначале стихи, потом песни. Всё, вопрос закрыт.

– Ну, как хотите, – обижается поэт.

– Если все вопросы решены, прошу, так сказать, в зал, – капитан Болт ведёт нас в ту дверь, за которой пятью минутами раньше скрылись комбат Шорец и начальник штаба Стекло.

– Смирно! – звучит команда.

Со стульев, расставленных в три неровных ряда в центре бетонного ангара, нехотя поднимается благодарная публика в составе полутора десятков небритых мужиков, разбавленных несколькими дамами в камуфляже.

– Прошу садиться, – Викинг разрешает аудитории вернуться в сидячее положение, интересуется у телевизионщиков. – Как, нормально?

Лысоватый Санёк пожимает плечами: «Сойдёт». А хмурый Ромчик делает круг по импровизированной аудитории, находит точку под узким окном под потолком здания, ставит камеру на штатив, протягивает лист бумаги корреспонденту: «Баланс белого». Пока оператор с журналистом готовят съёмку, капитан Болт приносит четыре стула из помещения с закусками, выставляет их сбоку первого ряда, усаживает на них комиссара бригады и нас, грешных. Сам остаётся стоять у стенки за камерой вместе с Шорцем и Стекло.

– Можно, – разрешает Ромчик.

Санёк указывает Викингу точку, где должно происходить главное действие. Майор входит в кадр ни разу не тушуясь, как заправский Дольф Лундгрен:

– Товарищи бойцы отважного батальона «Авангард»! Сегодня в наше расположение прибыла делегация из вашего родного Зареченска с гуманитарной помощью и шефским концертом. Слово предоставляется руководителю делегации, заместителю начальника управления внешних экономических связей правительства Зареченской области Петру Вадимовичу Лазареву.

Я встаю на уже не слишком трезвые ноги, подхожу под свет камеры, произношу привычную речь о мужестве защитников Родины от бандеровского режима, приглашаю на импровизированную сцену командира батальона для торжественного вручения гуманитарного квадрокоптера «мавик», который предусмотрительно лежит рядом на школьном столе. Комбат подходит, наклеивает на лицо радостную улыбку, я беру коробку, но неожиданно ощущаю её вызывающую легковесность, в некоторой растерянности вручаю пустую упаковку благодарно кивающему Шорцу

у, и мы уходим из-под пригляда телекамеры, уступая место Ворогову, который с места в карьер начинает мучить военных неозвученной в стахановском Дворце культуры поэмой «Традесканция». Хорошо, хоть отрывком, а не полностью.

– Ваши дроны давно уже в подразделении, Пётр Вадимович, на доводке до боевого состояния специалистами, – извиняется командир батальона. – Это же расходники, их вечно не хватает. Хорошо, одну пустую упаковку нашли для антуража.

– Предупреждать надо! – зачем-то огрызаюсь я.

– Я думал, Болт вам разъяснил, – весело щерится Шорец и одобрительно кивает на импровизированную сцену. – Громкий какой у вас поэт. Хороший.

Громкий поэт закончил с «Традесканцией» и завершил-таки, сволочь, в выступление несанкционированным ещё к опубликованию новым стихотворением.

«... И смертельного жала проклятие...

Вот такой, брат, у нас перекур».

Сел, отдуваясь, под жидкие хлопки батальонных поваров и караульных. С вызовом покосился в мою сторону, отвернулся. Не запачкал ладоней аплодисментом в пользу заслуженного артиста Евгения Кравцова, вышедшего на публику с уже расчехлённой гитарой.

Музыкальное искусство в батальоне приняли не в пример более благосклонно, чем поэтическое. Сорвав искренние овации проникновенным и исполнением трёх песен из репертуара Высоцкого и Визбора, Евгений завершил культурную программу, спев «по просьбе зрителей» розенбаумовский «Вальс-бостон». Фельдшерица Лена со смешным позывным Косичка неслышно подпевала артисту приятными полными губами, закрыв глаза от удовольствия.

Потом публика лениво освободила помещение, а Косичка попросила прикурить у начштаба Стекло, который объяснял диспозицию телевизионщикам и прочим заинтересованным лицам:

– Там, значит, за этим выходом пустой капонир, – махнул рукой в сторону двери в дальнем конце ангара, в которую отправилась благодарная публика. – Удобная точка для картинки: внизу, типа, пригнётесь от прил

ёта, сверху бойцы пару лопат земли бросят. Ну и отряхнётесь мужественно. Так?

Обращается к тележурналистам. Хмурый Ромик ничего не говорит, снимая камеру со штатива, а лысоватый Санёк пожимает плечами:

– Посмотрим. Только нам всех туда не нужно, достаточно одного желающего.

– Я желающий, я! – громко трясёт бородой и тянет руку вверх поэт Ворогов.

Оператор же недобро, если не сказать презрительно оглядев зареченских культустрегеров, тычет пальцем в Кравцова:

– Вы.

– Что опять я?! – традиционно взвизгивает артист.

– С гитарой, – коротко объясняет корреспондент Санёк. – Фактура, крупный план. Остальных не нужно.

– Хорошо, – соглашается комбат, спрашивает у капитана Болта. – Птички? Что наблюдатель докладывает?

– Чисто. Можно снимать.

– Ладно, командуйте, – кивает замполиту батальона. – Остальных прошу за стол. Сейчас с кухни горячее принесут.

Ворогов провожает завистливым взглядом Евгения Кравцова, уходящего вместе с капитаном Болтом и столичными телевизионщиками в зафиксированное бессмертие.

Не успели спуститься обратно в подвал, рассесться и дожидаться, пока прямой, как циркуль, капитан Стекло наполнит коньяком стаканы, как в дверь просунулась фигура пожилого казаха в коротком грязно-белом халате поверх военной формы:

– Готов бешбармак, товарищ майор. Подавать?

– Неси, Адиль, – кивает комбат.

Повар заносит поочерёдно два подноса с ароматно дымящимися тарелками, желает приятного аппетита, незаметно исчезает. Шорец извинительно разводит руки:

– Из говядины. Баранины здесь днём с огнём не найдёшь. Угощайтесь на дорожку.

– Ты нас прогоняешь, что ли, майор? – улыбается Викинг, сбивая щелчком с новенькой разгрузки надоедливую муху.

– Никак нет. Просто через два часа хохол накидывать артой будет по квадратам, это у него уж так здесь заведено. Если уж контрбатарейка наша не работает, – добавляет с некоторым нажимом.

– Я же сказал, что разберусь с начартом, сразу как вернусь, – опять обещает майор Игорь Валентинович. – Через полчаса выедем, через два буду в штабе бригады. Через три он тебе сам позвонит уточнить координаты.

– Хорошо бы, – вздыхает Шорец, спохватывается. – Вы ешьте, не стесняйтесь. Бешбармак горячим нужно есть, а то Адиль меня проклянёт... А вот и рабочая смена вернулась. Давайте быстрее, пока не остыло.

Капитан Болт усаживается за стол с чувством хорошо выполненного долга, корреспондент Санёк суетливо поправляет остатки волос на голове, оператор Ромчик недовольно оглядывает стол, достаёт из нагрудного кармана завернутую в салфетку ложку. Артист Кравцов ставит к стене зачехлённую гитару, садится за стол со скромностью героя нашего времени.

Журналист берёт стакан, объясняет майору Игорю Валентиновичу, видимо, как заказчику: «Нормально сняли. У нас материала к этому сюжету, как говна за баней. Сегодня всё отправим в Москву, там смонтируют в полном соответствии с техзаданием, пальчики оближете. Даже не сомневайтесь... Ну что, поехали?»

Под нежнейшее мясо с домашней лапшой коньяк залетает, как пташка в родное гнездо. Они здесь про другие алкогольные напитки не слышали, что ли? Или это такой специальный стиль у командного состава среднего звена?..

И вот уже звенит кравцовская гитара, а фельдшер Леночка неожиданно красивым контральто подпевает впавшему в хмельной артистический угар Кравцову: «Красная, красная кровь через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива...» На другом конце стола невнятно пробивается сквозь Цоя очередная жалоба комбата подвернувшемуся по случаю высокому бригадному начальству: «...Эта ДРГ уже третий день у нас по тылам шастает. Я не могу отвлекать силы

и средства на поиск и нейтрализацию, у меня других задач по горло. А на доклады никакой реакции...»

Майор Игорь Валентинович аппетитно ест бешбармак, попутно докладывая мне нюансы своей биографии: «Я в Энске – ну, Новосибирске – учился, в бывшем военно-политическом. Всем взводом мечтали в Сирию попасть: заграница, героическое всякое, ну и тройное денежное содержание, понятно. Но не судьба: шесть лет, как одна копейка, на Дальнем Востоке. Три рапорта подавал, чтобы на войну отправили – вот, месяц назад удовлетворили зафиксированное в документе желание. И сразу на приличную должность. Ничего, я здесь ещё пригожусь – с вашей помощью, кстати. На передок вот впервые с вами выбраться довелось, на реальную войну посмотреть... Ладно, ещё одну можно». Комиссар наливает себе и мне коньяк, глаза бы мои на этот популярный здесь алкоголь уже бы не смотрели...

– У меня тост! – Ростислав Ворогов поднимает над столом свою бороду поверх свитера. – Прошу внимания! Я несказанно счастлив быть с вами, дорогие мои друзья! Здесь, на передовой...

Торжественную речь поэта прерывают три громких, один за другим, разрыва, звучащих в подземелье глухо, но мощно, так что на столе слегка подпрыгивают тарелки. Ворогов инстинктивно пригибается, Кравцов тоже почти сползает под стол. Кажется, из культбригады только я не дёрнулся позорно, остался сидеть со стаканом в руке – не из беспримерной отваги, а лишь потому, что уже не молод, рефлексy не те, но какая разница, если фельдшер Косичка тебе лукаво и ободряюще подмигнула.

– Близо легло, – невозмутимо констатирует начшаба капитан Стекло. – Что-то новенькое... Извините, Ростислав Сергеевич, вы тост начали про передовую.

– Для них тут передовая, – вдруг нехорошо улыбается фельдшерица. – Ну, пусть.

– Ты бы язык попридержала, Ленок, – зло бросает прапорщице комбат и обращается к поэту. – Так про что будет тост?

– Да я уже и не знаю, – сникает Ворогов и вдруг вскидывается. – А можно нам на настоящую передовую? На ноль, как говорится. Очень нужно, очень.

– Нельзя, – флегматично жуёт ломтик сала Шорец.

– Мне тоже было бы интересно, – неожиданно для себя присоединяюсь к просьбе поэта.

Фельдшер Леночка глядит на меня с любопытством, а оператор Ромчик резко опорожняет стакан и громко замечает: «Интересно им». Но Викинг, кажется, ощущает, что я в гражданском табеле о рангах где-то на уровне комбрига, что-то крутит у себя в голове, обращается к командиру батальона.

– Давай мы быстро на какой-нибудь ротный опорник смотаемся? Полчас времени займёт.

– Не дам, – вытирает пальцы о бумажное полотенце комбат. – Боевого распоряжения не было и в сопровождение направить некого.

– Мы на своей броне шустренько туда-обратно.

– Нет, – уводит глаза в сторону. – Но я могу не знать о вашей личной инициативе. Там если от входа в штаб посмотреть на западный горизонт, слева трёхэтажное здание без крыши – это КП второй роты. Влево уходить нельзя, туда сапёры ещё не добрались, а так дорога по вешкам. Но я вам этого не говорил и разрешение к выезду на ноль не давал.

– Ну что, Пётр Вадимович, по коням? – Викинг смотрит на меня с азартом, интересуется у Кравцова с Вороговым. – Вы с нами?

– Спасибо, – уже спешит встать из-за стола поэт. – Нижайший поклон.

– Мне лишних эмоций не нужно, – холодно улыбается заслуженный артист РФ Евгений Кравцов. – У меня своих девать некуда... Что споём, Леночка?

Идти к выходу за майором Игорем после всего выпитого сегодняшнего коньяка получается не вполне уверенно. Но хорошо, когда рядом всегда есть дружеское плечо смешного поэта Ворогова. Очень хорошо.

В спину нам доносится повторная реплика неприятного оператора телеканала «Звезда»:

– Интересно им.

Глава 4. Смерть поэта

Задние люки бронетранспортёра распахиваются, мы с Вороговым выбираемся из десанта на свет божий с помощью усатого дядьки – пулемётч

ика БТРа. Второй бронетранспортёр сдаёт задом под прикрытие маскировочной сетки.

Викинг о чём-то говорит с бойцом у входа в здание – разговора не слышно на фоне совсем близкой здесь стрельбы: укры ли стреляют, наша ли артиллерия работает, не поймёшь. Страх трезвит, подкатывает судорогой к горлу, но майор спокоен, пара бойцов с любопытством рассматривает нас. Даже Ворогов, кажется, не шибко нервничает, разглядывает окружающую обстановку вдумчиво, шевелит губами, сочинитель.

Комиссар Соколов машет нам рукой «за мной!». Поднимаемся по разбитой лестнице без перил на второй этаж, сопровождающий боец показывает, куда идти дальше, и скатывается вниз по ступеням обратно. Майор уверенным шагом доходит до дверного проёма, занавешенной куском брезента, пригибаясь, входит в помещение, бывшее когда-то квартирой жилой малосемейки. Мы с поэтом следуем за ним, как крысы за гамельнским дудочником.

Здесь ощущаются приметы некогда мирного бытования: полированная стенка, два кресла, панель телевизора, пара аляповатых натюрмортов на полосатых обоях, угловой диван. Там на расстёгнутом спальном мешке сидит заспанный военный в грязной синей футболке и в густой чёрной бороде. Рядом на стуле лежит автомат, на спинке стула висит разгрузка.

– Замполит бригады Викинг! – строго представляется майор, брезгливо разглядывая интерьер. – А это представители шефской делегации из Запеченска.

– И что, мне теперь цыганочку с выходом исполнить? – военный встаёт, подходит к столу, достаёт из пачки сигарету, прикуривает. – Кто разрешил прибыть в расположение роты?

– Вначале представьтесь по форме, – голос комиссара леденеет. – Со старшим по званию разговариваете.

– Да мне похуй, – с видимым удовольствием отвечает дерзкий военный, но натягивает на футболку форменную куртку со звёздочками на погонах. – Командир второй роты старший лейтенант Грек. Вы находитесь в расположении моего подразделения, закреплённого за ротой согласно приказу командира бригады. В соответствии с боевым уставом, я здесь

являюсь старшим воинским начальником. Потому потрудитесь ответить на заданный вопрос.

– Посещение вашего расположения связано с политическими задачами, стоящими перед командованием бригады, – майор сбавляет тон, показывает рукой на нас с Вороговым, как бы предъявляя политическую задачу. – Вот, зареченские товарищи хотели бы ознакомиться с реальной боевой обстановкой.

– Пусть телевизор смотрят зареченские товарищи, – Грек зевает до хруста в скулах. – Там им всю правду расскажут, самую что ни на есть правдивую. Повторяю вопрос: кто разрешил посторонним явиться в расположение?

– Не заводись, ротный, – Викинг совсем уже примирительно садится за стол, тянется прикурить от сигареты старшего лейтенанта. – Мы буквально на десять минут заскочили, им интересно. Коньяк будешь?

Викинг лезет в свой бездонный рюкзак, выставляет на стол непочатую бутылку кизлярского.

– Буду, – Грек рассматривает этикету, вскрывает бутылку, разливает её всю в четыре синие чашки с золотым ободком, предварительно вытряхнув из них на пол присохшие к краям использованные чайные пакетики, и слово в слово повторяет неприятного оператора Ромчика. – Интересно им.

Но кивает, приглашая нас с поэтом присоединиться. Поднимаем с Вороговым чашки, Грек скучно смотрит на нас снизу. Надо бы что-то оправдательное сказать, примирительное, ободряющее, но чувствую, что весь мой привычный гладкий бюрократический лексикон ротному, мягко говоря, неинтересен. Выручает Ворогов:

– За жизнь, за настоящую жизнь!

Викинг одобрительно кивает, Грек пожимает плечами и молча опрокидывает в себя коньяк. Берёт с края стола дымящуюся сигарету, поднимает на меня скучающие, пустые глаза:

– Чего хотели-то?

– Да вот, так сказать, своими глазами на живых героев СВО, чтобы донести потом до людей в тылу...

– Уй, бля, – не дослушивает старлей. – Всё, коньяк допили, на меня пол

любовались – пиздуйте до дома, до хаты.

Майор согласно кивает, встаёт:

– Действительно, Пётр Вадимович, поехали обратно в Стаханов. Представление на боевую награду вы с Ростиславом Сергеевичем заслужили, я позабочусь, доложу комбригу. А теперь по коням.

– Интересно им, – понимающе усмехается старлей. – И поторопитесь, не спокойно у нас сегодня.

– Ещё одну минуточку, – нервно трёт кисти рук Ворогов. – Мне бы хоть одним глазком на фашистов глянуть, можно? Нет, я понимаю, что не сумею разглядеть эти нечеловеческие лица, но хотя бы в их сторону посмотреть. Вы не поверите, но каждый взгляд, каждая мысль материальна. Я смогу, я попробую донести до врага всю свою ненависть к нему. Мне очень нужно.

– Почему нечеловеческие лица? – удивляется Грек. – Вполне себе человеческие, не хуже наших с вами... А ненависть? Ну, донеси, если тебе это поможет. Так-то она ещё никому здесь не помогла.

Поэт дёргается к окну.

– Это же здесь? Куда тут смотреть?

– Если бы здесь, то были бы все давно уже мишенями для снайпера, – ротный берёт в руки пустую бутылку, вытряхивает оттуда на ладонь с чёрными ногтями последние капли, слизывает их. – В кухню иди, там окно досками зашито, в них обзорная бойница. В неё и смотри. Бинобль на подоконнике.

Ворогов поворачивается к двери, но в этот момент квартиру накрывает грохот совсем уже близких разрывов, от которых с потолка осыпается на меня, вдруг лежащего на полу, штукатурка. Рядом лежат бравый майор вместе с открывающим для себя новый мир поэтом. За окном раздаются сухие звуки автоматных очередей.

Грек одной рукой натягивает на себя разгрузку, другой держит у лица рацию:

– Слепой, что там у тебя за война началась?

Среди хрипящих звуков я разбираю только матерный русский, но ротный, похоже, вполне понимает суть доклада:

– Так, Саня, отсекай их от дороги! Сейчас дроны запрошу!

Рация опять рычит что-то неразборчивое.

– Сам знаю, что пулемёт в рембате! Бэ́тэр беги встречай, его КПВТ займёт! Через пять минут!

Отключается, спрашивает у майора:

– БэКа в бэ́тэре есть?

– Должен.

– Значит так, майор, – Грек лезет под диван, достаёт оттуда шлем и подсумок с гранатами. – На левом фланге заваруха какая-то нехорошая. Вроде, ДРГ хохлов к своим пробивается. На тебе каску и эфки на всякий случай. Этых быстренько сажай на броню – и гони обратно, только не по той дороге, как приехали, а через посадку у школы, часовой покажет. А сам на втором бэ́тэре прямо вдоль забора метров пятьсот до вэнээски. Там встретит взводный в очках, позывной Слепой. Покажет позицию, поддержишь пулемётным огнём. Приказ ясен?

– Связь? Я без рации.

– Наберут на войну пэтэушников, – ротный пригибается, взрывом в комнате выбивает остатки стёкол, осколок режет мне щёку. – Нахуй тебе сейчас рация? Слепой рядом будет, скоординирует. Всё, пошёл, пошёл!

Грек начинает разговаривать по связи матом с артиллерией. Мы с Вороговым бежим вниз за Викингом. Вытираю щёку, кровь капает с ладони. Раньше я мог свалиться в обморок от её вида на ватке в зубном кабинете, а сейчас некогда, хоть и тошнота к горлу подступает от страха.

У входа в здание майор ставит задачу подчинённым:

– Зуб, ты со всей дури гонишь обратно вместе с гражданскими. Высадишь на въезде в Стаханов – и в штаб бригады, там доложишь ситуацию начальнику штаба. А мы с тобой, Гладкий, примем бой по отражению прорыва диверсантов. Под прикрытием бетонного забора держишь вон на ту водонапорную башню, там разберёмся. Задача ясна? По машинам! Пулемётчики, по-боевому!

Весёлый и довольный майор Игорь жмёт руку Ворогову, протягивает ладонь мне.

– До встречи в Зареченске, Пётр Вадимович! Всё будет хорошо, не волнуйтесь. Вот и нам с вами довелось, наконец, в настоящем бою побывать! Удачи!

Викинг молодцевато запрыгивает на броню, свешивает ноги в командирский люк, поднимает на прощание руку. И я вдруг зачем-то понимаю, что майору вряд ли больше тридцатника. Молодой совсем, пацан.

Бессмысленно вместе с Вороговым дёргаем сзади дверцы десанта бронетранспортёра, пока к нам не подбегает пожилой водитель – Зуб, что ли.

– Да куда вы, мать вашу! Мину на днище цыпанём – там внутри и останетесь, как кильки в томате. На броню залазьте быстро! В случае чего, сбросит вас ударом в кусты, целы останетесь. Живей, граждане!

Кое-как забираемся на раскалённую июньским солнцем броню. Водитель выглядывает из люка, командует:

– Ты сюда, на командирское место. Ты вон там сядешь... Да, блядь, не хватайся за ствол! Вот здесь держись. Щас...

Нырять внутрь, выбрасывает нам две грязные плоские солдатские подушки.

– Под жопу засуньте, чтоб не отбило, не в джипе ехать.

Еле успеваю усесться на краю правого люка, нащупать ступнями опору на спинке командирского кресла, как бронетранспортёр дёргает с места так, что резко заваливаюсь назад, едва не свалившись с брони. Ростик Ворогов тоже, кажется, испытал ту же силу прикладных законов физики.

Но поэту, оказывается, всё нипочём. Вдруг заблажил сзади во весь голос, прерываемый скачками на ухабах несущейся на всей скорости броне машины: «Есть уп-поение в бою! У без-дны мрачной на краю! И в разярённом океане! И в аравийском урагане! И в дуновении чумы!» Даже водитель, ведущий БТР с высунутой из своего люка головой, через шлем офон услышал завывания поэта, обернулся, ощерился улыбкой. Но тут башня вместе с пулемётом резко поворачивает ствол вправо, Ворогов еле успевает пригнуться и прерывает свою мелодекламацию.

Бэтэр останавливается в тени большой яблони, Зуб нырять внутрь, о чём-то коротко говорит с пулемётчиком, потом возвращает голову обратно на солнечный свет, поднимает на лоб запylённые мотоциклетные очки. Тычет пальцем куда-то в сторону полуразрушенных строений, до к

оторых метров пятьсот. Или семьсот, или километр – кто тут эти метры считал? Но я всё равно не понимаю, о чём он говорит: слова разбираю, а общий смысл до мозга не доходит.

Разрывов больше пока не слышно, лишь неприятно потрескивают короткие автоматные очереди. Или пулемётные? Да какая разница, если от окружающего ужаса из головы вылетел весь хмель, а живот уже давно скрутили резкие спазмы.

– Вроде затихло немножко, да? – водитель прикуривает сигарету, цепко оглядывает небо. – Птички, ну, дроны, не летали, не видел?

Бросает взгляд на меня, понимает:

– Куда там... Если тошнит, блюй сейчас прямо с брони, потом некогда будет... В общем, нам по открытому полю вон туда нужно. Вешки вроде стоят, значит, проход есть. Держитесь со всей мочи. До Дружбы доберёмся, а там, считай, дома. Готовы? Готовы, повторяю?

Сил не хватает даже на кивок головы. Ворогов сзади отвечает за обоих:

– Всегда готовы! – салютует, придурок.

– Небо смотрите, поняли?

Киваю: ладно, будем смотреть.

– С богом!

Зуб широко крестится, опускает на лицо очки. Бронетранспортёр берёт с места в карьер и круто поворачивает влево. И сразу же ощущаю пинок в спину, оборачиваюсь.

Ворогов показывает пальцем в небо, орёт что-то неразборчивое. Ничего не вижу, ничего. И вдруг из-за дыма с моей стороны появляется чёрная вихляющая точка, вырастающая прямо на глазах. Бью ладонью по шлемофону водителя, указываю на страшную, неотвратимо приближающуюся смерть. Зуб орёт что-то нецензурное, до предела увеличивает скорость, стараясь проскочить между воронками и одновременно наблюдает за налетающим дроном. И когда уже можно разглядеть ореолы от винтов летающего боезаряда, орёт страшным голосом: «Прыгай!»

... Дурак, всё же, Витёк, совсем дурак. Сидит, хлебает ложкой утиный кондёр, улыбается, собой довольный. А чего тут улыбаться? Ты бы всё это выложил не мне – старому другу и однокласснику – а кому посторонне

му. Ну и поехал бы за дискредитацию и другое прочее варезки шить куда подальше. Много нынче таких, которые сами себе умельцы на срок н аговорить.

А главное ведь не то, что мы вдруг все, по-Витькиному, обратились в на цию стукачей и предателей, нет. Народ сер, но мудр, он сам себе поним ает, кто ему друг, кто враг. И не потому сдаёт пачками иноагентов и про чих вредителей, что ему так вождь приказал, а оттого, что чувствует от них смертельную угрозу самому своему существованию: если не вырв ать из себя заразу с корнем, то и оглянуться не успеешь, как у тебя на ш ее будет сидеть Навальный или ещё кто пострашнее. И всё, и свалится Р оссия в новую гражданскую – потому что не бывает двух народов на од ной территории: одного, который хочет беспредельной свободы, и друг ого, который за сильное государство, охраняющего его от поглощения НАТО, черножопыми и прочими педерастами. Так уж лучше вот так, пот ихоньку, без крови убрать из человеческого оборота весь заразный шл ак, мечтающий насадить в стране гнилые западные ценности – одним ср ок выписать, других приструнить, третьих отправить куда подальше с гл аз долой. Чем мы все сейчас и занимаемся, а то «стукачи», «охранители », «патерналисты» какие-то.

Сам-то ты кто, Витёк? Ты релокант – а значит, трус, сбежавший от Родин ы, каким бы новомодным словом ты теперь не назывался.

С другой стороны, ну что он тут мне, какой он вред России может нанес ти здесь, на охоте, чёрт-те где каких ебеньях? Пусть болтает, не жалко. М еня с моей позиции не свернёшь, а больше тебя никто здесь не слышит. И сообщать о твоей вредной болтовне куда следует мне вовсе ни к чем у. Вернёшься в свою Паттайю, там хоть презирай вслух русский наро д, никто тебя не услышит, как и здесь, в дальних сибирских степях, за дв ести километров от Зареченска. Вот так-то.

– Ты собака, что ли? – вежливо интересуюсь.

– Это с чего такой вывод? – Сорокин удивлённо поднимает кустистые б рови.

– Так кондёр без водки только собаки едят. А я уже пять минут стакан в руке грею. Давай ещё раз: с полем!

– С полем! – Витёк втаскивает в свой большой организм водку, закусыв

ает наваристым супом из дикой утки. – Извини, оторваться не могу. В Таиланде такого не попробуешь. Только я бы острых перцев сюда жменью добавил.

– Мечи, мечи, добытчик, – Сорока всегда был удачливым, метким стрелком, не мне, вечному мазиле, чета.

Вот и сегодня из семи добытых уток на моём счету один красногловик, а у Витьки Сорокина два чирка и четыре кряковых. Осенняя утка жирная, наваристая, кондёр из неё на костре получается лучше любого ресторанного блюда. Так что вполне понимаю старого школьного товарища, вполне.

– Неплохо летала утка нынче, – отставляет в сторону пустую миску Сорока. – Эх, завтра утреннюю зорьку бы такую же – и можно считать, что не зря в Россию скатался.

– Сам-то понял, что сказал?

– Да, чего-то я не попад, – скучнеет лицом Витёк. – Ну, давай ещё раз матушку помянем, земля ей пухом.

– Светлая память Александре Филипповне, – выпиваем не чокаясь.

Вокруг совсем уже ночная темень, с неба сыплются одна за другой позднесентябрьские звёзды, как крякаши после сорокинских дуплетов. Но у Витьки другая ассоциация:

– Девять дней завтра, – смотрит вверх, задрав голову. – Летает сейчас душа мамкина в этой вышине, не падает, как эти... Не закрыл я гештальт, не успел прощения попросить за срыв тот давний. Да и не факт, что помирились бы: Серёга говорит, что так и не смог ей ничего доказать – так и померла в убеждении, что правильно русские бомбят харьковскую Салтовку, где бабушка жила когда-то. И он тоже ей доказать не сумел, что не в Киеве нужно фашистов искать, а в Москве.

– Конченная у вас, Сорокины, семейка – хоть тебя взять, хоть брата твоего. Одна Александра Филипповна нормальная была да вся вот вышла. Весь народ справедливую войну поддерживает, одни вы против.

– Ты кончай, Лазарь, снова расписываться за весь народ, – Витёк опять бычится, запускает большие ладони в свои чёрные курчавые с сединой волосы, мотает головой, будто отгоняя рвущееся наружу постоянное раздражение. – Из всех увиденных нынче знакомых только ты активно за

фашистский режим топишь. И никак понять не могу – по натуре свой сволочной или по долгу чиновничьему. Вроде, сволочью раньше не был, но время сейчас такое, оно из каждого его настоящее нутро на свет божий вытаскивает, миру предъявляет.

– Да считай как тебе угодно, – весь вечер достаёт Сорока меня этими дурацкими разговорами, надоело. – Наливай лучше.

– Я налью, чего ж не налить? – Витёк разливает водку по походным металлическим стопкам. – Давай за победу. За нашу победу.

Тоже мне, разведчик Кадочников выискался. Поднимаю рюмку:

– Давай.

– Подожди. Моя победа будет, когда новый российский Рейх уберётся и з Украины. Совсем. А твоя победа в чём?

– Ты не поймёшь.

– У меня пятёрка по обществоведению в школьном аттестате была, а у тебя тройка. Я пойму, только объясни мне, чего вы хотите: Киев захватить, до Львова дойти, Зеленского на площади повесить?

– Мы хотим защитить там русских людей.

– И потому убили уже пятьсот украинских детей? По самым скромным подсчётам.

– Ты не поймёшь, ты в России чужой. И всегда им был.

– Ладно, давай, – Сорока тянет руку, чокается с моей рюмкой, выпивает.

– Чужой так чужой. Мне с вами своим быть совсем не хочется... Пойдём спать, что ли, завтра вставать затемно.

– Пошли.

Уже в палатке, закутавшись поплотнее в спальник, чтобы быстрее согреться, и начиная потихоньку проваливаться в приятный пьяный охотничий сон, спрашиваю Витька:

– Деньги-то шлешь из своего Таиланда на Украину, чтобы русских побольше убить?

– Не русских, а уродов. Не скажу. Тебе-то что? Ты все равно на эту войну только в телевизоре глядишь. Туда бы тебя, в окоп, чтобы война до печёнок дошла, но куда там... Ладно, спи, патриот диванный, до охоты пять часов осталось.

А я и так уже сплю.

И просыпаюсь под жарким донецким солнцем в придорожной канаве. Вернее, выползаю из полусознания в текущую громкую явь, где поэт Ворогов с чёрным от копоти лицом трясёт меня из всех сил:

– Петя, ты живой, Петя?!

Я живой, Витёк. Я в окопе, как ты хотел. Я на войне, а не на диване, вышло по-твоему... Только это не Витка Сорокин, вдруг всплывший из отчаявшегося подсознания посреди окружающего крошечного ада, а нелепый поэт Ворогов, по чьей милости я лежу сейчас в этой сухой донецкой канаве в мокрых штанах.

– Там раненый! – рифмоплёт орёт, как потерпевший, тащит меня из спасительной ямы за шиворот наверх, в страшное. – Один не дотащу, а вдвоём мы сюда его махом! Пошли, Петя, пошли!

– Я сейчас, ты иди, – с трудом отрываю от себя руки нервного поэта. – Я догоню, я быстро.

Ворогов кивает и, пригнувшись вдвое, бежит к дымящемуся бронетранспортёру, рядом с которым лежит окровавленный водитель Зуб, громко воет с короткими передышками. Вой в наступившей тишине боя звучит театрально-отчётливо, как монологи артиста Кравцова со сцены.

Два низколетящих вертолёт на полминуты заглушают стоны раненого и громкий мат поэта, сидя прижавшегося спиной к колесу бэтэра и пытающегося зажать ладонью рану на голове бойца.

– Ну, где ты там? – кричит Ворогов. – Давай быстрее, пока тихо!

Сейчас, я сейчас. Только нельзя, невозможно совершать подвиг в обоссанных штанах, нужно их снять с себя, не позориться... Ремень на расстёгивается, чёрт... Так, теперь башмаки развязать. Узел затянулся намертво и разрезать нечем... Стрекоза села на колено, отвлекает, дура. А вот и ещё одна присоединилась, и третья пролетела рядом...

– Петя, помогай! – голос поэта слышится ближе. – Немножко осталось!

Выглядываю из-за обочины: Ворогов уже оттащил раненого от бронетранспортёра, тот наконец смолк, безжизненно уронив голову на руку поэта, а тот улыбается одышливо, подмигивает, а у самого локоть вывернут неестественно, тоже ранен, похоже. Метров пять им осталось до моего сомнительного укрытия, не больше.

А мне нужно развязать этот чёртов шнурок и справиться с тягучим спазмом внизу живота... Так, башмак стянул, наконец, теперь стянуть бы штаны...

Стрекозий стрёкот усиливается, приобретает громкие металлические нотки, падает мне на голову и завершается взрывом. Сверху сыплются мелкие камни, песок, по откосу к ногам скатывается чёрная оторванная кисть руки. Живот тоже взрывается освобождающим спазмом и по ногам течёт горячее, вонючее, жидкое, но своё родное, естественное, а не продукт чужеродного осколочного проникновения в мой здоровый, хороший, целый организм.

Выглядываю осторожно: там, где лежали Ворогов с Зубом, ничего не разберёшь из-за дыма над небольшой воронкой. Но нехорошо там, некрасиво. Там уже свершившаяся смерть. А я живой, я так не хочу, мне так не нужно. Мне просто нужно снять штаны, избавиться от гнусного запаха несмываемого позора. Да и чем его здесь смоешь, в этой сухой жаркой степи, где спасительного глотка воды у бога не выпросишь?

И тишина, нарушаемая только порхающими как ни в чём не бывало стрекозами. Свернуться на дне канавы в клубок, сжаться, чтобы уменьшить поверхность тела, такого открытого для порхающего вокруг смертоносного железа.

Вот так это всё и бывает. Ты этого хотел, Сорокин? Как ты будешь потом смотреть в глаза Эле, Берте, Серёжке? Это всё из-за тебя, тебе теперь с этим жить... Эля, Эля моя, что же это такое со мной происходит?! Мы же планы строили на отпуск, в Таиланд хотели поехать...

Шаги, глухой разговор. Кто-то продвигается по этой проклятой канаве в мою сторону. Был бой, тут как на ладони всё, должны были понять Викинг и Грек, что мы здесь пропадем. Значит, помощь пришла! Значит, спасён!

– Я здесь! – голос пропал, одно сипение выходит. – Я живой!

Из-за изгиба высовывается ствол автомата, затем появляется согнутая фигура военного с огромным рюкзаком на спине. Следом приближается ещё один, смотрящий на меня склонившимся к прицелу автомата прищуренным глазом.

– Руки за голову поднял, – даёт негромкую отчётливую команду первым.

На рукавах у них узкие повязки из синей изоленды. Не могу вспомнить, чей это знак отличия, складываю ладони на затылке, хрипло убеждаю:

– Я свой, из Зареченска! Мы с концертами здесь...

– Тихо, блядь! – боец быстро осматривается, опускает ствол. – Дивись, Белый, який нынче боевой оккупант пошёл.

– Освободитель, хуле. – оба опускаются напротив меня на землю, автоматы на коленях. – Перекурим минутку, что-то я сдох уже.

На чёрных лицах пот проложил узкие светлые дорожки по щекам. Первый тычет пальцем в обычный смартфон, спрашивает в него:

– Как вы там, без потерь? Прошли через ленту?.. Ну и отлично. Мы с Артистом на лесополосу выходим... Да тихо тут пока вроде... На связи через час.

Достаёт сигарету, прикуривает у второго, протягивает мне пачку.

– Не курю, спасибо, – и вдруг непонятно откуда из меня вырывается страшное. – Слава Украине!

– Героям слава! – автоматически откликаются оба бандеровца, то есть, защитника Украины, усмеваются.

Первый снимает шлем, вытирает грязной банданой мокрое от пота лицо, замечает:

– Вонько у тебя здесь, отец. Но красиво вписываешься в пейзаж без штанов: грозный рашист с голой жопой... Пить хочешь?

Протягивает фляжку с тёплой водой. Глотаю жадно, преодолевая тошноту от приступившего страха – совсем уже другого, не прошлого, привычного.

А второй интересуется:

– С концертами, значит? А ты поёшь чи пляшешь?

– Поэт, – зачем-то вру, усиленно кивая головой. – Стихи, так сказать, со сцены...

– А там гражданский тоже артист? – указывает подбородком вперёд, где за моей спиной на поле лежит Ворогов или что там от него осталось.

– Да, – как будто бы я путаю противника, скрывая военную тайну. – Актё

р нашего театра. Мы с концертами здесь...

Первый прерывает, указывая пальцем с автоматного ложа на второго:

– Сашко у нас тоже артист. До войны в оперетте житомирской пел.

Сашко поднимает плечи, извинительно разводит руками: мол, пел и пел, с кем не бывает. Подтягивает лямки на плечах рюкзака, предлагает первому:

– Пошли, что ли?

– Пошли.

Поднимаются в пол роста, автоматные дула заглядывают мне прямо в глаза.

– Не убивайте, – захлёбываюсь в горловом спазме. – У меня внуки. Трое.

– Да нахуй ты нам упал, обосрыш, – первый аккуратно выглядывает из-за края обочины. – Живи... За мной, Артист, бегом! Направление – вон та посадка.

И так, согнутыми, выбираются из канавы и убегают за чадающий бронетранспортёр.

А через полчаса к нему подкатывает второй бэтэр нашей с Викингом мини-колонны. Два бойца вытаскивают меня из условного укрытия, подводят к Греку. Стою, как дурак, с болтающимися мудями и обосранными штанами в руках.

– Нарядно, – констатирует ротный. – Ладно, там в десанте одеяло есть, завернёшься. В батальоне тебя, поди, во что-нибудь оденут. Да брось ты штаны эти! Вон туда, подальше.

Курит, пока подчинённые затаскивают в бронетранспортёр останки Зуба, пулемётчика и поэта Ворогова.

– А Игорь Валентинович где? – задаю светский вопрос, как будто я на новогоднем губернаторском приёме, а не посреди голой степи с грязной жопой.

– Там, – кивает на десант чёрной бородой. – К Косичке на стол едет. Жить будет. Наверное.

– Здесь два диверсанта были, – решаюсь на важный доклад. – К той посадке убежали, меня не заметили.

– Да и хрен с ними, – равнодушно выбрасывает бычок в пыль Грек. – Лу

чше бы все они так незаметно просочились к своим, чем войну здесь устраивать. И им, и нам спокойнее.

Кивает мне в сторону десанта, поднимается на броню.

– Всё, продолжаем эвакуацию раненых, – бросает взгляд на меня, – и прочих потерпевших. Вперёд!

Внутри бронетранспортёра нахожу место среди трёх запylённых солдат на мягком длинном сиденье. В проходе лежат трупы Ворогова и Зуба. Прямо на их телах раскачиваются из стороны в сторону носилки, на которых лежит замполит бригады с прибинтованной к шине ногой. От его локтя тянется трубка к пластиковому пакету с жидкостью, который держит в боец с санитарной сумкой на коленях.

Викинг смотрит на меня, улыбается, поднимает вверх большой палец.

Глава 5. Грек

В медпункт заходит Шорец, выглядывает из-за плеча Косички, докладывает:

– Из штаба сообщили, что связались с администрацией Стаханова. Подождёт транспорт вас с артистом, вместе со своими в Ростов поедете. Успеете, Пётр Вадимович, не волнуйтесь.

Спрашивает у медицинской прапорщицы:

– Как майор?

– В отключке. Кровопотеря, шок два. Ничего, эвакуацию до медбата под промедолом выдержит. Идите уже, не мешайтесь!

Комбат вздыхает от привычной, судя по всему, резкости фельдшера Косички, выходит из перевязочной.

Медичка заканчивает накладывать мне швы на щеку, смазывает рану зелёной, касаясь плеча полной мягкой грудью из-под зелёного халата.

– Да сиди ты смирно, не дёргай башкой! – прикрикивает грубо, как я люблю.

Вдруг вспоминается, как десять лет назад вернулся поздно вечером с конференции в Новосибирске, а в спальне меня ждала Эля в странном блестящем чёрном белье. Как она встала с распахнутой постели, подошла ко мне вплотную, дёрнула за галстук, потянула вниз. Поставила на кровать ступню с яркими красными ногтями, велела: «Лижи! Каждый пале

ц!» И я облизал. Каждый. Потом разделся, оставив на себе только галстук, как приказала Эльвира, встал на четвереньки. Эля довела так меня до зеркала шкафа-купе в прихожей, полюбовалась на картину, отвела обратно в спальню, понукая: «Рядом иди, скот! Ровно иди!» И мне нравилось ползти на четвереньках рядом и ровно.

Затем она приказала забраться на кровать, лечь ничком, начала хлестать ремнём по ягодицам: «Ты не слушал мамочку! Ты отвратительный, мерзкий мальчик!» А я просил: «Накажи меня, накажи ещё!» И Эля наказывала.

Потом опять поставила на четвереньки, вылизала горящий от ударов ремнём зад, взяла в ладонь давно затвердевший колом член и начала его мастурбировать. Прервалась на минуту, вернула руку на место и одновременно ввела в анус что-то длинное, гладкое, упругое, спрашивая: «Хорошо тебе, сучонок? Хорошо?» И мне было хорошо, и слёзы благодарности лились из глаз, и через минуту всё закончилось резким сладостным опустошением. И я был счастлив и хотел повторения этого счастья каждую ночь. И Эля дарила мне это счастье – нечасто, несколько раз в год, но дарила...

Прапорщик Косичка не подарит, но её строгие команды невольно напоминают о наших тайных с Эльвирой забавах, непонятных и недоступных другим смертным. Не настолько смертным, как теперь поэт Ворогов, но и не настолько живым, как мы с Элей в те остро чувственные моменты...

– Всё, герой, готово дело, – фельдшерица заклеила рану на щеке пластырем, отвернулась, выключила яркую лампу на штативе. – Будешь девушкам хвастаться мужественным шрамом.

– Спасибо вам, – с удовольствием оглядываю обтянутый халатом полный зад отвернувшейся к раковине прапорщика Косички.

Иду на выход из медпункта, слышу сзади усмешливое напутствие:

– Будь здоров! Штаны не потеряй, терминатор!

Эти военные штаны, выданные мне из личного гардероба начштаба батальона Стекло проще потерять, чем не потерять. Но пусть лучше такие огромные, чем никаких. В чужих штанах, с чистой задницей и первично залеченной раной на щеке чувствую себя почти уверенно, явившись к з

накомому столу с закусками, за которым сидят комбат, начштаба, ротный Грек и артист Женька Кравцов.

Не нахожу ничего лучше, чем глупо поинтересоваться отсутствием телевизионщиков Санька и Ромчика.

– Так сразу они и уехали после вас, – объясняет Шорец. – Работу сделал и, коньяк весь выпили – какой им интерес? Водку будете, Пётр Вадимович?

– Наверное, – принимаю из рук начштаба стакан, наполненный на треть.

– Ну, давайте на посошок, – командует Шорец. – Темнеет уже. Сейчас за пакуют вашего поэта по-человечески, чтоб до дома нормально смогли довести, и трогайтесь в Стаханов с богом. На буханке санитарной, Грек сопровождающий... Ладно, помянем Ворогова вашего. Хороший мужик был, смелый, да? Как его по батюшке-то?

– Ростислав Сергеевич, – пьяненько всхлипывает Кравцов. – Я бы с ним сюда хоть каждый месяц... И поэт он прекрасный... Был.

– Ну, за поэта! – комбат встаёт, за ним тянемся из-за стола и мы. – Земля ему пухом. Прошу садиться... Лёша, узнай, что там с машиной.

Начштаба кивает, идёт к выходу, закусывая на ходу бутербродом с салом. А заслуженный артист никак не успокоится:

– Геройскую смерть принял Ростик, лютую... Как жаль, как же мне его жал! И вы герой, Пётр Вадимович. Настоящий герой! Один я тут среди вас с никчёмный человек. Человечишко я! Не чета вам.

Судорожно хватает гитару, рвёт струны:

«Что-то воздуху мне мало,

ветер пью, туман глотаю.

Чую с гибельным восторгом:

«Пропадаю, пропадаю!»...

Грек морщится, отбирает инструмент, подтягивает струны:

– Истерику выключаем, – не обращая внимания на рыдания упавшей на стол головы Кравцова, вдумчиво берёт несколько непривычных аккордов. – Все тут герои, все отличились.

На меня не смотрит. Демонстративно на меня не смотрит. Зато комбат не пропускает мимо ушей похвалу мужеству сидящих за столом, прозвучавшую с едва ли не угрожающей интонацией.

– Ты давай-ка, Андрюха, без этого вот, – ёрзает на стуле, разливает по стаканам водку. – Люди с боевого выезда вернулись. Ну, не все, понятно... Честь им и уважение. А промеж себя мы потом разберёмся, не нужно сейчас.

– Это верно, – соглашается ротный, выпивает, никого не дожидаясь, ставит пустой стакан на стол чуть громче, чем нужно. – Время героев, как говорится. В кого ни плюнь, каждый герой.

Совсем уже нестерпимый пьяный стыд заставляет меня подать голос:

– Мы же как лучше хотели, мы не знали...

– А какой с вас, пиджаков, спрос? – удивляется старлей. – Обосрамшись под дронами? Так это с каждым третьим военным здесь бывает... Ладно, неважно.

Но в мою сторону Грек по-прежнему не глядит. Брезгливо ему на меня смотреть, противно, всей кожей чувствую.

Комбат хочет что-то сказать, но старлей, задрав к потолку свою чёрную бороду и не глядя на струны, вдруг выдаёт громкую, напряжённую композицию, из которой рвётся наружу звенящая испанская страсть. Пальцы профессионально бегают по всему грифу, отчётливый бой правой руки быстро меняется на сольную партию и обратно. Кравцов глядит на гитариста с открытым ртом и после финального аккорда лезет к Греку с восторженными объятиями. Но восторг просвещённой публики остаётся не востребуемым, поскольку к застолью возвращается капитан Стекло с докладом:

– Машина у входа, тело погружено. Пора ехать, товарищи шефы.

Чёрный пластиковый мешок давно свалился бы с длинного бокового сиденья, если бы не был закреплён двумя ремнями-стяжками к металлическим крючьям в стенке санитарной машины, которую безбожно трясёт на разбитой донецкой дороге. Не угадать, где тут у Ворогова голова, а где ноги. Кажется, покойника следует нести ногами вперёд, но тело поэта уже лежало привязанным к этому сиденью, когда мы с Кравцовым по прощались с Шорцем и разместились внутри УАЗа-буханки. Если сейчас Ворогов лежит ногами вперёд к молодому пацану-водителю, то как ег

о потом выносить, разворачивать внутри, что ли? Ладно, доехать бы без новых приключений, а поэту уже всё равно.

Я сижу напротив покойника ближе к задней дверце, а Кравцов устроился на сиденье сразу за движком машины. Неловко изогнувшись, смотрит вперёд в быстро темнеющее пространство.

– Там не дрон летит, товарищ старший лейтенант? – в который уже раз тычет пальцем в ветровое стекло заслуженный артист.

– Не дрон, – через пауза отвечает Грек, кивает на водителя. – Прекращай мне тут Сергуньку пугать.

– Чего меня пугать? – обиженно трясёт белобрысым затылком Сергунька. – И сам вижу, что не дрон. Не вчера на войну приехал.

Поёживается спиной, поворачивает лицо с по-детски пухлыми губами к ротному:

– Из бригады сразу домой поедem или до утра в Стаханове останemся, товарищ старший лейтенант?

– Там видно будет.

Сергунька окает по-вологодски – совсем молодой парнишка. Со срочной его на контракт, что ли, подписали? Так ведь воует, не боится. В своих штанах едет, не в заёмных по прискорбному случаю. И Ворогов в своих штанах едет. И Кравцов. Один я – монах в новых штанах.

– У тебя брюки запасные есть в гардеробе, Евгений? – интересуюсь у артиста.

– Джинсы, – отвлекается от дороги артист, оценивающе оглядывает мою комплекцию. – Чуть великоваты вам будут, Пётр Вадимович, но всё лучше, чем этакое страхолюдство. Недосуг спросить было: а что с вашими-то штанами приключилось?

Нет, не издевается: внимательно ждёт ответа, уважительно, только голова по-пьяному болтается из стороны в сторону.

– Да так как-то, – сходу не нахожусь с ответом. – В общем, порвались.

– Совсем, в клочья? – удивляется Кравцов.

Пока лихорадочно придумываю объяснение, Грек поворачивает голову и отчётливо доводит до артиста окончательную, незыблемую правду:

– Штаны были залиты кровью спасаемого из-под вражеского огня товарища, – внимательно глядит на Евгения, не на меня. – В хлам были испач

каны, в корку. Я приказал снять и выбросить – чего людей пугать? Так понятно?

– Так понятно, – кивает головой герой-любовник больших и малых академических театров. – Джинсы с меня, Пётр Вадимович, нам бы только до гостиницы добраться. Не поверите, но вы мне всегда старшину Васкова напоминали, только без усов. Мы, артисты, редко в людях ошибаемся. Вы уж простите меня, что без должного почтения раньше с вами позволял себе. И что Ворогова не заменил, когда вы с майором прямо на самый передок поехали. Простите, Пётр Вадимович...

Резко оборачивается вперёд, артистически-ожесточённо спрашивает у Грека:

– А водки нет у нас? Очень нужно.

Старлей молчит, отвернувшись. Тогда Кравцов хватается за плечо водителя Сергуньку:

– Может, у тебя есть, а? Мне бы пару глотков всего сейчас.

Белобрысый затылок испуганно жмётся в плечи, а Грек даёт команду:

– Стой, прижмись на обочину, отлить надо. Ещё желающие есть?

Я желающий. Делаю пару шагов под фары санитарки, старлей останавливает:

– Не туда. Пошли, задний мост обольём.

– Понимаю. Чтобы целью для противника не стать на свету.

Грек пожимает плечами:

– Да нет. Просто чтобы дорогу вперёд не зассывать, не сглазить. Традиция такая, проверенная.

Сделав своё нехитрое дело, говорю ротному:

– Спасибо, Андрей.

– За историю про штаны, что ли?

– За неё. И вообще.

– Не за что... Меня зовут Грек и никак иначе. Андреем я буду для мамы и прочих друзей там, когда вернусь. А здесь я Грек.

– Понятно.

– И товарища вашего, пожалуйста, попросите назад пересесть, а вы на его место. Заебал он уже.

Кравцов спит, уронив голову на дощатый стол под обширной маскировочной сеткой, шуршащей под горячим вечерним донецким ветром. Впереди часовой в бронежилете у шлагбаума, сзади в неприметном двухэтажном здании штаб бригады, куда отправился с докладом ротный, приказав ждать его возвращения с машиной, которая доставит нас к гостинице.

Десять вечера уже, раньше в это время полдороги успевали проехать до Ростова. Но из Зареченска отзвонился Пальчиков, заведомо, рассказал, что весь вечер губернатор на связи с гражданской администрацией Стаханова, автобус вместе с бронёй сопровождения будет ждать нас с Кравцовым до упора, с бортом в Ростове тоже есть договорённость об ожидании прибытия колонны шефской помощи с телом героически погибшего товарища.

Эвакуация группы уже на контроле в администрации президента, все телевизионные каналы сообщили о подлome убийстве украинскими неонацистами видного сибирского поэта Ростислава Сергеевича Ворогова. А телеканал «Звезда» показал последнюю видеосъёмку выступления зареченского стихотворца перед бойцами геройского батальона «Авангард», там и моя личность запечатлена.

В Зареченске на аэродроме самолёт будет встречать лично губернатор и пять съёмочных групп федеральных телекомпаний, тело Ворогова примет почётный караул. Следует быть готовым дать интервью сразу у трапа военного транспортника, подробная объективка о биографическом и творческом пути поэта отправлена на телеграм – нужно ознакомиться, когда мессенджер откроется после выезда в зону, не покрытую средствами радиоэлектронной борьбы.

Так что весь информационно-бюрократический аппарат задействован по особому случаю, в дальнейшем никаких осложнений с логистикой быть не должно. Ждём вас, Пётр Вадимович, с особым нетерпением после героической командировки, удачи!

Это ладно, это все правильно, но где же обещанная Греком машина? Самим нам с Женькой Кравцовым до гостиницы не добраться: в какой географической точке мы сейчас находимся, мне совершенно непонятно, такси здесь не вызовешь, пешком с артистом выдвигаться вообще не ва

риант – да и не факт, что он ноги переставлять толком сможет, нагрузи
лся в батальоне водкой под завязку. Забыли они про нас тут, что ли?

Не забыли. Вот и ротный пришёл, садится на стол, докладывает:

– Через пять минут машина будет. До гостиницы отсюда четверть часа е
зды, потом ту-ту в славный город Ростов-папу. Только комбрига придёт
ся подождать, он лично попрощаться с вами желает.

– Как доклад прошёл? – зачем-то интересуюсь я, хотя что мне эти военн
ые доклады.

– Не знаю, – пожимает плечами ротный, глаза у него непривычно блест
ят, да и разговорчивость откуда-то взялась. – Разбор полётов отложен н
а завтра, по его итогам и станет понятно, чья правда выше окажется... Вт
ащишь?

Грек достаёт из кармана маленькую круглую пудреницу, что ли, берёт о
ттуда мелкую щепотку белого порошка, втягивает её левой ноздрёй, за
тем повторяет процедуру с правой. Зажмуривает глаза, выдыхает, прот
ягивает коробочку мне, я испуганно вытягиваю вперёд обе ладони, кат
егорически отказываясь от запретного удовольствия, как тот розовощё
кий абстинент от рюмки водки на известном плакате.

– Ну, как хочешь, – равнодушно констатирует Грек, крутит в руках занят
ную микрошкатулку. – Семейный предмет, от прабабушки остался. Ню
хательная табакерка. Раньше, видишь, табак из неё нюхали, а я вот тепе
рь под другое приспособил... Москвич я хрен знает в каком поколении,
род наш знатный, от постельничих Петра Алексеевича Романова идёт, б
лагородные мы. И табакерка эта серебряная, чуешь?... Только не любите
вы, провинциалы, нас, москвичей, так? Мы для вас хуже хохлов, прости,
господи. А чем я хуже? Тем, что родился с серебряной табакеркой этой
во рту? Ну да, родился. И в МГУ на философский меня папаша-заммини
стра пристроил, есть за что меня не любить. И гитаре учился у знаменит
ого джазмена, и в Институт философских проблем устроился после ун
иверситета... Но сейчас я здесь простой ванька-ротный, третий год уже
как. В первый набор «вагнеров» сразу записался. Экзистенциальный, бл
ядь, выбор, максимально упрощенческий: чёрное и белое, добро и зло,
война и мир. Думал упростить всё для себя, а получилось, что максима
льно усложнил. Не добро за моей спиной, а, похоже, что зло. И хохол м

не не экзистенциальный враг, а противник, который на таком же ротно м КП напротив сидит. И уважения у меня к нему больше, чем к той сволочи, что войну эту развязала. Вот такая тут, отец, окопная философия, бытовая вполне...

Но человека теперь считываю на раз. Вот хоть тебя возьми: прожил ты жизнь у себя в Зареченске тоже вполне себе сытую, гладкую, ухоженную. В чиновники немалые вышел, судьбами людскими повелеваешь, а за душой-то что у тебя? Совещения, карьера, рождественские каникулы в Праге с блядью какой-нибудь. Всё. В армии не служил, в тюрьме не сидел, Эверест не покорял, на горных порогах с катамарана тебя не смывало. Все твои главные острые моменты в жизни заключались в том, как бы соседа по чиновному кабинету на карьерной дороге объехать да на взятке жирной не попасться. Впрочем, нет, на взяточника не тянешь, там азарт нужен, а не бюрократическая выслужливость. Страха ты в глаза не видел до сегодняшнего приключения, которое так и останется самым ярким воспоминанием на всю оставшуюся жизнь. Ну хоть такое останется, а у многих и вспомнить к концу жизни нечего. Да почти у всех...

А самый тупой и предсказуемый род на земле – это военные, уж поверь мне. Хуже вашей чиновничьей братии, честное слово. Выбрал военное училище – и кати себе ровной дорожкой от звания к званию, от должности к должности. Нет человека скучнее военного, особенно в мирное время. А когда война, то, понятно, наружу всё нажитое из него лезет. Вот хоть Викинга этого твоего взять: хуле он вас ко мне притащил, дебил? Так выслужиться же хотел, орденку себе на френчик повесить, на войне реальной побывать, чтобы бабам потом дома про всякие ужасы своего героизма по ушам втирать. Повтирал, ёбань плюшевая, погеройствовал: гражданского угробил, сам на операционном столе сейчас. А почему? Потому что тупой, как любой кадровый военный: форсу много, толку мало. И субординация же у них, чиновпочитание это ебучее, с молоком старшего начальника впитанное. Вот какого хера комбат вашу блядскую агитбригаду ко мне на КП выпустил? Права не имел и головой понимал, что нельзя. А тут, гляди-ко, целый замполит бригады захотел, как ты ему откажешь, если для тебя любой начальник страшнее пулемёта. Они скорее от командного окрика в штаны насрут, чем от миномётного обст

рела, вояки хуевы...

Вот такой доклад у меня сегодня и случился, а ты ещё спрашиваешь. Вот такая здесь, блядь, война, до которой и военных-то допускать нельзя, чего уж о вас, пиджаках, говорить...

Внезапно Грек прерывает странный монолог, встаёт из-за стола навстречу кому-то за моей спиной, прикладывает ладонь к виску. К КПП подходит комбриг Храмцов, за ним на почтительной дистанции движется чёрный джип.

– Вольно, старший лейтенант, – отмахивается от старлея полковник. – Иди отдыхай. Завтра совещание в штабе в восемь тридцать по итогам сегодняшнего боестолкновения. От тебя подробный доклад по карте с локациями прорыва ДРГ за ноль и отчёт о печальном инциденте с гражданскими лицами в расположении роты. Шорец отчитается по всей зоне ответственности батальона, прибудет утром. Свободен, Грек.

Ротный отдаёт честь, уходит, не попрощавшись. Ощущаю некую досаду, как будто он должен был держать меня за боевого товарища, хотя какой я ему товарищ, в самом деле. Да и он мне.

Расталкиваю Кравцова, тот поднимает голову от стола, смотрит в окружающее пространство мутным взглядом, пытается сконцентрироваться.

– Теперь с вами, Пётр Вадимович, давайте в сторонку отойдём, – командир бригады подводит меня к джипу, деликатно придерживая под локоть. – Сочувствую вашей сегодняшней утрате и заодно поздравляю с боевым крещением. Наградной лист на ваше имя будет подготовлен в ближайшие дни политотделом бригады после выяснения всей полноты картины прорыва украинских диверсантов. Но тут такое дело...

Полковник прерывается, чтобы дать команду водителю с автоматчиком погрузить в джип артиста. Они ведут его под руки, Женька пытается расцеловать бойцов в обе щёки, те хмуро отстраняются, усаживают Кравцова на заднее сиденье.

– В целом, картина мне уже ясна, – комбриг наблюдает за мизансценой погрузки в джип заслуженного артиста. – Майор Соколов превысил свои полномочия, комбат Кузин не воспрепятствовал ему в перемещении на КП роты, старший лейтенант Воронцов не обеспечил безопасность п

рибывшей в его распоряжение группы. Все получают своё по заслугам, можете быть уверены.

– Командир роты, по сути, спас меня и вывез в безопасное место, товарищ полковник, – пытаюсь как-то отметить положительные действия Грека, спохватываюсь. – И убитого поэта Ворогова тоже, конечно.

– Разберёмся, разберёмся, – успокаивает меня полковник. – Но я бы попросил вас, Пётр Вадимович, при докладе своему начальству, в общении с прессой не акцентироваться на военном аспекте вашего, эм-м, сего дняшнего подвига. Сообщите, что, скажем, именно этот Ворогов очень хотел попасть на передний край, буквально умолял, заставил командиров показать ему настоящую войну, которая завершилась для него таким трагическим образом. И для героического облика погибшего поэта польза выйдет, и с нас лишнего спроса поменьше. Договорились?

– Так точно, – соглашаюсь зачем-то по уставной военной форме, вспоминая молодцеватого раненого замполита. – А что с майором, то есть, с Викингом?

– Готовят к операции, говорят, что жить будет, – комбриг смотрит на свои роскошные часы, прощается. – Что ж, будьте здоровы, Пётр Вадимович. Моя командирская машина доставит вас к точке сбора быстро и без лишних приключений. Тело погибшего уже в бронетранспортёре сопровождения. Всего доброго, удачи.

В Ростов въезжали притихшие, подавленные. Давно успокоился Кравцов, поначалу рассказывавший артистической публике, как всё было у нас на самом деле. В лицах показывал, голос меняя при озвучке персонажей, – ничего получалось, похоже. И комбата изобразил, и Косичку, и телевизионщиков, и Ворогова, и меня. Крупные слёзы катились из глаз артиста, когда он изображал сцену прощания перед отправкой нас на передовую. Выходило, что он, Женька Кравцов, обнял каждого, перекрестил перед делом ратным, а в глазах Ворогова разглядел последнюю предсмертную тоску: и так страшно ему стало на душе, что вернулся он за стол комбата и вдруг изнутри вырвалась песня «Чёрный ворон, чёрный ворон, что ж ты вьёшься надо мной». И даже гитару принялся было доставать из чехла для музыкальной иллюстрации, но слушатели уговорили

обойтись пока без этого.

Без этого так без этого. А что Ворогов погибнет, это Кравцову понятно было сразу, потому он совсем не удивился, когда узнал о печальном исходе творческой поездки. И про меня артист всё давным-давно понимал, только сказать случая не было: про организационный талант, про негромкое мужество, про обязательную требовательность к себе и другим. И что все эти давно подмеченные Кравцовым качества совершенно естественным образом проявились в том, как я героически спасал экипаж подбитой бронемашины, как тащил на себе убитого уже поэта, как отстреливался от врагов, как получил ранение в лицо... И не возражайте, Пётр Вадимович, не нужно! Пусть люди почувствуют атмосферу настоящей войны, как мы с вами её чувствовали! Как в обычном человеке проявляется героическое начало!..

Артист кричал, плакал, просил водки, пока не уснул. Задолбал он меня за весь этот долгий бесконечный день, пусть спит, пока мы въезжаем в ночные огни мирного города Ростов-на-Дону...

Глава 6. Шахматы

Открываю глаза. Возвращение в реальность мнемория из очередного погружения происходит с ощущением внезапного неприятного удара, если не успел заснуть там, откуда возвращаешься. Так ведь только в безмятежном детстве удавалось засыпать засветло под очередную сказку в «Спокойной ночи, малыши!», потом редко успеваешь погрузиться в сон до двенадцати ночи. А у мнемория не забалуешь, тут строго: проснулся в дате погружения – проживёшь её ровно с момента тамошнего пробуждения до полуночи, ни секундой больше.

Да там больше ничего интересного и не было.

– Фронт идёт, – кивает на окно Клепсидра, помогая мне подняться с лежбища и прибирая в карман халата мнемонаушники. – Час уже как громы хает, добра теперь не жди.

– Какой фронт, откуда фронт? – паника накрывает разом, как ведром колодезной воды окатывает.

– Эк побледнел ты, Пётр Вадимович, – служительница мнемория обеспокоенно прикладывает мне на предплечье датчик тонометра. – Не встава

й резко, голубчик, не торопись... Атмосферный фронт, какой ещё. Гроз у с утра прогноз обещал с последующим похолоданием... Вот так давай, миленький, не спеша. Пойдём, до лестницы тебя провожу.

В холле висит объявление, что сегодня в библиотеке состоится коллективный просмотр и обсуждение культового фильма нашего детства «Осенний марафон». Опять Елена Фёдоровна расстаралась, бывший кинокритик местного разлива: каждый месяц с лекциями про синематограф выступает – очень она бодрая старушка, очень активная, и с деменцией совсем не дружит, прямо завидно. Но я внезапно сворачиваю и хромаю за шахматный столик, сажусь напротив Лёвы Топильского, который тут же переставляет несколько фигур, поворачивает доску ко мне:

– Мат в три хода. Даже для тебя, Петруччио, простая задачка, хоть и элегантная. Попробуй.

Лёва, конечно, человек сложный, но и простой до невозможности: пока в твоём распоряжении шахматная доска, раскрутить его временно не занятый головной мозг на отвлечённый разговор – дело пустяшное. Делаю вид, что пытаюсь пожертвовать белой ладьёй, интересуюсь:

– А случался у тебя, Лев Евгеньевич, самый позорный день в твоей жизни? Такой, что даже вспоминать его всегда тошно было и стыдно до мурашек по спине.

– Бросал бы ты, Петя, своё увлечение мнеморием, – сразу вникает в суть ценитель шахматных этюдов. – Не работает это против деменции, верно тебе говорю. Все врачи идиоты, нам-то с тобой уж эту прописную истину знать положено. Помнишь, в детстве синей лампой лечили и рыбьим жиром? А потом выяснилось, что всё это фигня на постном масле. Вот и мнеморий такая же фигня, такой же рыбий жир. Зря ты туда ходишь, только нерв себе накручиваешь.

– И всё же, Лёва. Или уж такой безгрешный ты человек в итоге вышел?

– Безгрешный у нас только проэдр Константин Строгов, да хранят Аллахи и Будда его благословленные дни и ночи. А я и сейчас чего-нибудь отпустил бы на радость себе и персоналу, только грешилка отмерла. Но вот так, чтобы целый день позора – нет, не припомню за собой такого. Ну так мы и люди маленькие, не вам, чиновникам высших сфер, чета. И проступки у нас маленькие, и грешки крохотные, и позорчики несуществе

нные. Так что, нет, Пётр Вадимович, не порадуя тебя откровением от Лёва Пустослова, не помню за собой страшного этического апокалипсиса... Да что ж ты всё ладьёй по доске елозишь, как будто других фигур на доске нет? Вон хоть к слону чёрнопольному приглядишься, что ли.

Оставляю в покое ладью, прикидываю, какой неожиданный ход должны сделать слоном белые, чтобы красиво выиграть партию.

– Из белых ты, Лёва, получаешься, – верчу в руках фигуру, выбирая максимально удалённую от чёрного короля клетку поля. – Из чистых. А нас, чёрных, с позорными фактами личной истории, подавляющее большинство на этой планете. Может, оттого и докатились мы до жизни такой, вполне всеми нами заслуженной.

– Вот, правильный ход, теперь думай дальше, – не понять, про шахматную позицию говорит Лев Евгеньевич или про несовершенное обустройство мира. – Верно, должен чёрный ферзь рубить этого слона, у них выхода другого нет... Но мы-то люди, а не шахматные фигуры, Петя. На то нам Создатель и дал свободу воли, чтобы мы сами своей судьбой разумно распоряжались, а не кто-то за нас, как ты вот сейчас за этого слона думаешь. Но не справились люди, потому что разума не хватило, а главное – достоинства. Вот и покатилося всё к чертям собачьим ещё лет сорок назад. И докатилось теперь... Жертвуй ладьёй смело, сейчас уже можно.

Подставляю тяжёлую фигуру под бой чёрного ферзя и сразу понимаю, что он запирает единственную клетку отступления короля от неминуемого мата пешкой. Элегантно, да. И пока Лёва не вернул свой мозг из реальности обратно в шахматную эстетику, уточняю:

– В дефиците достоинства, считаешь, корень зла?

– Квадратный корень, Пётр Вадимович, если не сказать, кубический, – применяет сомнительную метафору главный шахматист нашей богадельни. – Вначале люди утратили способность спорить с начальством, перечить сильному, идти вразрез с общественным мнением, отстаивая свою правоту. Перевелись в наше время джордано бруны, одни галилеи остались, от правды своей отказывающиеся. «Он знал, что вертится Земля, но у него была семья», как сказал поэт... А как людишки повсеместно поизмельчали, так из них наверх потянулись самые приспособившиеся, д

ля которых человеческое достоинство не просто ругательное слово, – о ни вообще смысла его не понимают, оно для них такое же отвлечённое, никчёмное понятие, как, скажем, водопад Анхель. Ну да, есть, наверное, где-то в Андах самый высокий водопад на Земле – и что? Кто его видел? Зачем он вообще? Кому легче от этого водопада? А девяносто процентов людей, вообще про этот водопад не слышали. Да и про достоинство тоже...

Вот и вернулось обратно право сильного, как в какие-нибудь средние века. Есть у тебя ядерная бомба – нападай на соседей, бей, круши, лови гусей – никто тебе слова поперёк не скажет. А там и другие, глядя на такое дело, своими бомбами стали обзаводиться, силой меряться, а тех, кто сопротивлялся, своё достоинство выказывал, тех за лохов стали держать, подъедая со всех сторон, как Украину в незабвенные времена. Потому что достоинство стало признаком общей придурковатости: в чём твоё достоинство, если у меня гиперзвук, а у тебя рогатка самодельная? Вот и всё, вот и хлебало завали, утрись своим достоинством перед смертью, чтобы помереть красиво, а мы, сыто рыгнув, облизнёмся и дальше пойдём.

И залебезила Европа перед Америкой, легла под неё, ноги раздвинувши в Альпийских горах, и Россия в Китай помчалась вприпрыжку, штаны задрала. Вот и дошли до Сепарации, а там, глядишь, и до чего хуже дойдём – с нас, нынешних, станется. Одни маскианцы какие-то остатки достоинства сохранили. Вот увезут они его с Земли – и понятия такого здесь не останутся, и само слово забудется. А взамен новое качество человеческой природы обозначится, рыгота какая-нибудь. «Береги платье снову, а рыготу смолоду», «он смотрел в лицо смерти с чувством собственной рыготы». Кто сейчас помнит о достоинстве, кроме нас, стариков? Ну так мы сами его и изничтожили, вот этими самыми руками... Может, блиц сгоняем, Петруччио? Семиминутку, а?

Нет уж, мне эти Лёвины вольнодумства слушать больше без надобности. Достоинство он, гляди-ка, в идеал возвёл. Штанов ни разу по нужде не менял, а туда же. Умные все такие стали.

Погружение третье. 41

Глава 1. Пионеры и герои

– А теперь, дорогие друзья, небольшой шефский праздничный концерт! – объявляет директор нашей богадельни Иван Кириллович, с показным счастьем отбивая ладони в радостных аплодисментах. – Просим, просим!

И я хлопаю в свои ладошки, покрытые пигментной гречкой, и сидящий рядом в импровизированном президиуме замдиректора департамента соцобеса аплодирует, и все расположившиеся напротив за библиотечными столами рук не жалеют: и Клепсидра, и сиделка Яночка, и другой персонал, и Лев Евгеньевич, и киновед Елена Фёдоровна, и прочие престарелые ветераны партии «Единая Святороссия», чей обязательный день рождения мы все тут сегодня отмечаем.

Сидим, принаряженные по случаю: сотрудники в торжественных розовых халатах, мы, ветераны, с партийными значками на праздничных блузах и лацканах пиджаков, с медалями, у кого какие есть.

У меня в ряду прочих – не скучная юбилейная, а самая что ни на есть боевая «За взятие Дзержинска». Благодаря ей и сижу вот уже тридцать, считай, лет во всяких президиумах, как пока живой ещё пример мужества и героизма воинов-освободителей братского украинского народа. Орден, конечно, был бы более весомым аргументом причастности к той Великой победе партии и народа, но засбоил тогда бюрократический механизм – вместо обещанной комбригом высокой награды пришло представление на медаль, а орден Мужества посмертно получил поэт Ворогов.

Непонятное тогда у меня чувство было: не то чтобы оскорблённое, но такое вот странное, в общем. Поделился им в отпуске на тайском пляже с Витькой Сорокиным под ром с кока-колой. Сочувствия искал, что ли? А Сорока возьми и вздохни с комической завистью: «Живут же люди – вся могила в цветах». И всё, и как отрезало: зачем мне орден, я согласен на медаль. Каждому своё, нам чужого не надо.

А вдова Ворогова со всем почтением ко мне осталась – каждый год на его день рождения к ним в семейство приходил, рассказывал про поэта всякое героическое, больше придуманное, конечно. Дети слушали скор

бно, вдова слезу пускала... Трахнул её потом, конечно, – как не трахнут при таком сердечном отношении? Лиза её, что ли, звали. Или Люда? Да какая теперь разница...

Хор ребятишек – три мальчика и семь девочек – входят в большой зал библиотеки, выстраиваются в два ряда вдоль стенки в двцветных пионерских галстуках и с гвоздичками в руках. Музыкальная руководительница встаёт перед ними, оглядывает строго, взмахивает руками. «Надежда, мой компас земной» – ну да, чем же ещё стариков порадовать, кроме как этой древней тоскливой мутью, не «Лабутенами» же группировки «Ленинград», не рекомендованной ныне к публичному прослушиванию, хоть Сергею Шнурову и стоит теперь памятник в Питере – не как музыканту, понятно, а как видному партийному деятелю, первому министру культуры Святославу.

Помнится, Скотт Скотов, он же в миру Виталик Хорт, заведомо литературы и драматургии в областном министерстве культуры, писал в середине десятых в теперь совсем забытом, а тогда популярном фейсбуке: «Песня Анны Герман «Надежда» столь же невыразимо пошла, как реклама якобы безалкогольного пива «Балтика» или актёр Панкратов-Чёрный».

Как Скоттом был Виталик, так скотом и оказался впоследствии, но фраза та его отозвалась, запомнилась, хоть никогда раньше о том, чем подспудно раздражает меня актёр Панкратов-Чёрный, не задумывался. И комментариев там, помнится, сотни две набралось. Восторженных меткостью наблюдения, большей частью. Умел Виталик публику завести, был у него такой сетевой талант. Ну, пока можно было ещё, в дикие неподцензурные интернетные времена...

Ребятки спели и «Надежду», и «Звенит ручей», и «Я – русский», и прочее трогательное старьё, потом по команде разбежались вручать каждому ветерану по гвоздичке. Меня поручили светлоголовой девчухе со смешными косичками из-под пилотки. Встаю, побряхывая, из-за стола, принимаю, как положено, торжественное партийное приветствие от сердца к солнцу, расцеловываю девочку в обе щёки. Банально всё это, конечно, и давно регламентировано в педагогических методичках, но трогает: каждый раз всё труднее сдержать сентиментальную стариковскую

слезу.

Однако ж, стоит малышка, не убегает, хоть весь положенный ритуал уже исполнила. И я стою, как старый дурак, не понимаю.

– Как зовут тебя, красавица? – спрашиваю в неспешной суете покидающих зал гостей и постояльцев.

– Любочка, – рапортует пигалица, кивает на двух подошедших пионерок. – А это Вера и Надя, мы юные корреспонденты школьной газеты «Луч утренней зари великой Святороссии». Нам редактор Антон Зеркальский поручил взять у вас интервью про ваш давний героизм, за который вы получили высокую боевую награду.

– Не интервью, а воспоминание взять, – поправляет коллегу, кажется, Надя, почти профессионально закрепляя на штативе телефон для съёмки.

– Ну, чтобы не зря мы сюда ездили, – добавляет со святой детской простотой пионерка Вера. – Да вы садитесь, садитесь, дедушка, вам же трудно стоять.

– Сяду, сяду, девушки, – заботливая молодёжь нынче пошла, хоть и хваткая. – А вы, значит, Вера, Надежда, Любовь, как во всех песнях поётся?

– Ну и пусть, задолбали нас уже этими именами все подряд обзывать! – неожиданно возмущается Надя, спохватывается. – Ой, извините, это я не про вас.

– Понятно, что не про меня, извиняю. А лет вам сколько, барышни?

– Лет нам по одиннадцать, – вносит ясность вручавшая мне гвоздику Любочка, похоже, главная в этой святой троице. – Готовы, Пётр Вадимович?

– Всегда готов! – отдаю юным корреспонденткам шуточный пионерский салют.

Корреспондентки морщатся.

– Здравствуйте, Пётр Вадимович, – здоровается со мной на камеру Любочка. – Расскажите, как вы совершили свой подвиг...

Ну вот, совершил, да. Стало быть, война, передовая, ротный Грек, прорыв диверсантов, героизм Ворогова, отбитая мною из пулемёта атака врага, попытка спасти поэта, его кончина на моих руках, последние слова героя: «Спасибо тебе, Петя. Береги нашу прекрасную Родину», благода

рю за внимание.

Вот и всё, вот и весь давно заученный назубок героический отрывок собственной биографии, в который теперь и сам уже веришь. А как не верить, если он зафиксирован во множествах интервью для серьёзных изданий, не пионерских каких-нибудь. Что написано пером, того не вырубить топором, известное дело.

И для подрастающего поколения правильная эта история, патриотическая. Здесь воспитательный момент много важнее реальной окопной правды, я в этом давно уже себя убедил. Взять хоть историю про двадцать восемь панфиловцев: ну и пусть себе сказка, но ведь до сих пор работает. Это главное, а не штаны какие-то, прости господи. Ну вот зачем бы этим милым пионеркам знать про мои штаны? Пусть знают, как мы Родину защищали, гордятся, пример берут...

– Спасибо вам за прекрасный рассказ, Пётр Вадимович, – завершает интервью пионерка Любочка. – Спасибо, что спасли тогда нашу страну от агрессивного блока НАТО.

Похоже, не только я играю в эту игру «сделайте нам красиво»: пионерки тоже знают когда и какие слова нужно говорить. Сызмальства приучаются к патриотизму, хорошо их нынче воспитывают, правильно. И я в это воспитание свою маленькую лепточку сейчас внёс, тоже полезное дело сделал на старости лет. Есть ещё чему поучиться молодёжи у нашего поколения, есть. Отстояли мы тогда свою Родину, чего и вам желаем...

– Дедушка, а как вы в молодости пользовались свободным этим, как его, интернетом? – вдруг интересуется корреспондентка Надя под неодобрительные косые взгляды подружек. – Это не для печати, мне просто интересно.

– С умом пользовались, барышня, с умом, – в растерянности от неожиданного вопроса никак не нахожусь с правильным ответом. – Свобода – она, знаете не для того человеку дана, чтобы говорить что ты хочешь, делать неодобряемые обществом поступки. Свобода не для творческого самовыражения нужна, не для безрассудной правды, а для того, чтобы, как бы вам это сказать... В общем, чтобы, знаете...

– Мы знаем, знаем, – перебивает меня корреспондентка Любочка, чеканит, презрительно отвернувшись от коллеги по журналистскому цеху. –

«Свобода – эта осознанная необходимость проявления любви к своей стране, выражаемая всеми дозволенными средствами». Проэдр Константин Строгов дал определение свободы ещё на третьем съезде партии... Вечно ты, Надька, со своими дурацкими вопросами... У нас всё, Пётр Вадимович. Здоровья вам сибирского, долгих лет жизни. Отсальютовали, убежали. Про интернет им интересно, ишь. Слово-то забытое уже почти сегодня. Свободный интернет, надо же. Преданья старины глубокой...

– А помнишь ли, Матвеевна, слово такое – «интернет»? – интересуюсь зачем-то у смотрительницы мнемория, уже установившей на прилежбищной тумбочке свою огромную колбу песочных часов.

– Помню, как же, – охотно соглашается Клепсидра, но уточняет. – Слово помню, а сам интернет этот толком и не застала. В деревню к нам его сколько-то лет вели, а как протянули, так его сразу, считай, и запретили. А слово-то помню, из ума ещё не выжила... Ой, простите, Пётр Вадимович, это я не как в обиду вам... Куда сегодня ехать собрались?

– В десятые поедем. Тоже, поди, лихое время, а?

– Не знаю. Мне в восемнадцатом аккурат двадцать годков исполнилось, взамуж тогда впервой собиралась. А в двадцать, батюшка, жизнь-то плохой не бывает. Но мамка с подозрением те года вспоминала: лихое, говорит, времечко было. Ну, тут уж не мне судить, вам виднее. Приятного в ам путешествия.

Глава 2. «Осенний марафон-2»

Не какой-нибудь скоротечный выходной, а законный отпуск, самая что ни на есть его середина. Когда просыпаешься совсем поздним утром с такой приятной мыслью, то мир кажется прекрасным, даже если за окном пасмурно и по стеклу скатываются извилистые струйки дождя.

Хорт на прошлой неделе прислал Эле, как культурному журналисту, своё новое стихотворение – толковое, ничего не скажешь. Как там у него было в финале? Ну, когда лирический герой смотрит в утреннее окно на спешащих по морозу в присутствие трудящихся:

«Мы с псом им, бедным, не завидуем,

хоть и желаем всем добра.

Но мы на отдыхе и, видимо,
я выпью водочки с утра».

Водочки, значит, да? Нет, водочки не хочу. Хочу яичницы с колбасой. И с кофе. А вот в кофе можно плеснуть полрюмки коньяку. Да, так будет правильно.

За завтраком тренькнуло сообщение от Эльвиры: «Купи баклажаны и говяжий фарш. Берточку из художки заберу сегодня сама. Приедем часов в пять. Квартиру пропылесось. Чмок». И тебе чмок, дорогая труженица. Две труженицы: у Берты тоже жизнь будь здоров какая – в гимназии шесть уроков, потом ещё три часа у мольберта в школе искусств. Никакой личной свободы у нынешних одиннадцатилеток. Не то что в наше время, мы-то ого-го какие были в их возрасте!..

Да ладно самому себе врать: такими же и были малолетними зашуганными школой и родителями ребёнками. Только вокруг нас ещё и разруха была – вначале талонная перестроечная, затем нищая ельцинская. Но ничего, выжили как-то, детишек вот нарожали, которым, даст бог, не доведётся пройти те испытания, которые выпали на нашу долю. Четырнадцатый год на дворе, не какой-нибудь девяносто пятый, когда полстраны бастовало с голодухи, да ещё чеченская война своего страху нагоняла. Нет, счастливое время ребятам нашим выпало – сытое, спокойное, уверенное. Крым вон Путин у Украины отжал: выправилось государство, в свою силу вернулось. Хипстеры столичные вечно чем-то недовольные, понятно, но кто ж их слушать будет? Носятся с этим своим Навальным, как поросята визгливые, а жизни страны не чувствуют, в резонанс с ней не попадают. Отторгает Россия их чужеродные тела, не нужные они ей. То есть, нам, то есть, мне. Впрочем, они и сами это понимают.

Вон, хоть Витальку Хорта возьми, вольнодумца фейсбучного, отважного критика режима в интернетах. Только не под своей фамилией он там обретается, а под погонялом Скотт Скотов. Потому что и фейсбучная общественность не одобрит, если узнает, что известный в узких кругах либерал служит режиму верой и правдой на своей не так уж чтоб и малой чиновной должности. А с другой стороны, и охранительные круги долго терпеть в своих рядах не станут показного свободолюбца: тут уж или

зарплату свою от государства получай немалую чиновничью, или геройствуй публично, на радость белоленточной публике.

И хоть не шифруется Хорт особо, вывешивая фотки своей довольной физиономии в фейсбуке, но как-то умудряется пока скользить между струйками: одним боком к начальству, другим – к либертоте этой своей. Ну, это до поры до времени, не чует Виталя изменения давления атмосферы, на культуре сидит, а там вечно последними верный тренд угадывают. У нас, в министерстве внешних экономических связей, давно уже не гласный запрет существует на фейсбук и прочие западные соцсети, а эти и не понимают, либеральничают...

А кстати, не заглянуть ли мне в подцензурный фейсбук? Особой привычкой к сетевому общению не обзавёлся, но из-под аккаунта «Иван Сергеевич» регулярно захожу почитать, что там пишут всякие знакомые и незнакомые нарциссические личности. Сам ни лайком, ни комментарием следов не оставляю, но наблюдать за публичными обнажениями людей бывает любопытно. Иной раз на пару дней залипнешь вникать в какой-нибудь массовый срач, где каждый комментарий – слепок человеческой натуры. Потому что человек может врать, а буквы не могут. Такое уж тут зеркало души.

А у меня как раз вдруг нарисовалось фейсбучное уведомление: надо же, Скотт Скотов меня в числе ещё пятнадцати пользователей фейсбука, приглашает ознакомиться с его постом. Ладно, посмотрим, не жалко.

«Предупреждаю, многобукофф.

Сподобился написать пародию на сценарий «Осеннего марафона» в красках текущей современности.) Простите, Александр Моисеевич, если сможете!)

Всем остальным приятного чтения».

Прошлой осенью в «Вечернем Зареченске» вышла статья Виталия Хорта «Запретная нежность советского кино». Там заведующий отделом литературы и драматургии в региональном минкульте на целую полосу признавался в любви к фильмам «Сто дней после детства», «Пять вечеров», «Любить», «Июльский дождь», но особенную сентиментальную слезу пустил про лирическую безнадёжность человеческих отношений в картине Данелии «Осенний марафон».

Вполне себе приятная ностальгическая рецензия, мне понравилась. Эл я принесла с работы газету, похвасталась. Она эту статью Хорта готовила к публикации, очень довольна осталась, как заводделом культуры городского издания.

А теперь, значит, смельчак Хорт пародию на свой любимый фильм написал. Что ж, посмотрим-посмотрим...

«ОСЕННИЙ МАРАФОН-2

Неравномерный стук капель дождя по стеклу. Дышит последними сновидениями предутренний Петербург.

Бузыкин просыпается в пижамных штанах, подтягивает, зевая, гири на ходиках с кукушкой. Часы показывают 6.10. На цыпочках возвращается в спальню, берет мобильник, просматривает смс-сообщения, ничего нового не находит, кладёт обратно на тумбочку.

Включает на кухне чайник, смотрит на законный дождь, открывает ноутбук. Протирает висящие тут же на стене портреты Достоевского, Пелевина и Дуни Смирновой. Вздрагивает от звонка будильника. Устремляется в спальню, где замолчавший мобильник его супруга Нина Евлампиевна сонно засовывает под подушку.

— Я забыл выключить, — извиняется Бузыкин.

— В жопу иди, — не открывая глаз, бормочет Нина.

Бузыкин смотрит на неё, хочет что-то ответить, но затем аккуратно закрывает дверь и отправляется на кухню.

Заваривает пакетик чая, открывает холодильник, достаёт сыр и масло. Обращает внимание на початую бутылку водки. Делает себе бутерброд, завтракает, смотрит в окно, за которым уныло моросит. На стене фото дочери с зятем.

Неожиданно для себя Бузыкин достаёт водку, наливает в рюмку, затем переливает в стакан, добавляет из бутылки до половины. На секунду задерживается, вздыхает: "Ну и хуй с ним". Зажмурившись, выпивает, с красными брызгами закусывает помидором. Вытирает лицо руками, руки вытирает о штаны.

Одевается в нечто спортивно-бесформенное, чистит зубы. Во время этого ежедневного процесса его каждый раз накрывают сдерживаемые рвотные спазмы, оттого выходит из ванной с ещё слезящимися глазами. Сидит на кухне, курит "беломор". Активно тикающие настенные часы фиксируют 7.30. Раздаётся дверной звонок. Бузыкин идёт открывать дверь, наклеив на лицо приветливую улыбку. На пороге стоит Шершавников.

— Ты что, ты зачем? — Бузыкин, шагает навстречу Шершавникову в неуютность лестничной площадки.

— Я подумал, может, тебе собачка нужна? — у ног Шершавникова дрожит некрупный двортерьер, облепленный мокрой шерстью пегего окраса.

— Да не нужен мне чужой Мухтар!

— Андрей, ну с чего ты взял, что это Мухтар? А вдруг это Эсмеральда? Яркая, красивая, независимая, сводящая с ума своим нравом и статью уродов, иноков, олигархов?

— Василию Игнатьевичу расскажи, — Бузыкин неопределённо кивает головой вверх. — Соседу моему. Его это собачка, тот ещё кобель.

Внезапно Шершавников бросается к Бузыкину, прижимается щетинистым лицом к его груди.

— Я устал, Андрей, — его руки слепо носятся по лицу Бузыкина. — Сколько можно, в конце концов? Три дня не могу работать — просто смотрю на телефон, просто смотрю. И жду, жду, жду...

Дверь в квартиру Андрея Павловича и Нины Евлампиевны захлопывается. Мухтар с интересом наблюдает за развитием событий. Бузыкин пытается отстраниться — не грубо, но настойчиво:

— Хватит Виталий, ну что ты в самом деле, — слышится звук поднимающегося лифта. — Хансен едет. Я позвоню, сегодня же позвоню.

— Правда? — лицо Шершавникова отражает эмоции собаки, которой обещают весёлую прогулку в магазин за суповыми костями.

— Правда, — Бузыкин быстро и нежно целует счастливого Виталия и машет рукой. — Туда, наверх. Не нужно здесь.

Шершавников с Мухтаром торопятся вверх по лестнице. Из лифта выходит Хансен.

— Вы меня встречать? — кажется, датчанин совсем не удивлён наличию Бузыкина у кабины лифта.

— Волновался.

— Нет, я добрался совсем хорошо. Вы готов?

— Не совсем, — Андрей Павлович звонит в дверь своей квартиры.

— Я узнал народную фразу, мне нравится, — Хансен поправляет очки.

— Народ плохому не научит, — нейтрально замечает Бузыкин.

Щёлкает замок, Нина Евлампиевна — взлохмаченная и в халате — сторонится, пропуская мужчин:

— Здравствуйте, Билл.

— Андрей, держи хуй бодрей, — завершает сообщение о народной мудрости Хансен. — Здравствуйте, Нина.

— Очень тонко, Билл, чай на кухне, — Нина Евлампиевна удаляется в спальню, на пороге оборачивается к Бузыкину: — Погорельцы навещали, денег просили?

— Какие погорельцы? Василий Игнатьевич зарядку спрашивал для «самсунга», а у меня же «нокиа». Нужно бы другой замок поставить, чтобы дверь не захлопывалась.

— Нужно, — супруга закрывает дверь спальни чуть громче, чем следовало бы.

— Вы ссориться? — Хансен наливает чай из заварника в своё традиционное глубокое блюдо, кладёт в него два куска сахара.

— Нет, просто не выспалась, — Бузыкин прикуривает папиросу.

— «Хуй бодрей» — это сексуальная проблема?

— Не обязательно. Скорее наоборот.

— Не понимаю.

— «Держать хуй бодрей» — не обращать внимания на неприятности.

Хансен на минуту задумывается, потом докладывает:

— Веселиться.

— Или так.

— У Достоевского это было?

— Нет, у Достоевского этого не было.

— А кто так писал?

— Никто. Может быть, Довлатов.

— У вас большая литература, Андрей. Писатели позволяют себе пропускать великие народные пословицы.

— Это не пословица.

— Я считаю, пословица.

— Возможно... Я, Билл, сегодня не могу. Никак не получится, извините.

— Почему?

— Выпил. Первый же гаишник остановит.

— Зачем выпил?

— Захотел.

— Утром?

— Утром захотел.

— Всё равно нужно. Нельзя пропускать.

Одетая в деловой костюм Нина Евлампиевна выходит из спальни, причёсывается в коридоре перед зеркалом, висящем рядом с кухней.

Бузыкин продолжает упорствовать:

— Можно. Один раз можно.

— Нельзя. Андрей, держи хуй бодрей.

Нина добавляет:

— Тебе человек дело говорит. Всё верно, Билл.

Хансен ждуще глядит на Бузыкина. Тот смотрит в отсыревшее окно, потом встаёт.

— Хорошо, бодрей так бодрей. Пойдём.

— Хуй так хуй, — Хансен идет за Бузыкиным к выходу.

В коридоре Андрей Павлович берет сегвей, выкатывает его на лестничную площадку. Хансен вызывает лифт. Внизу, у почтовых ящиков, Билл забирает свой агрегат для перемещения в пространстве. Оба выходят на улицу, надевают шлемы. Под слабой утренней моросью едут по пустой широкой улице в наступающий длинный день.

Бузыкин спешит на работу по суетному Санкт-Петербургу. Мелькают витрины, Аничков мост, кришнаиты, рекламные билборды и дорожные таджики. Входит в офисное здание, где среди многочисленных табличек у двери есть одна неброская: «ООО «Транслейт продакшн». Видит у лифта толпу, смотрит на часы, бежит по лестнице на четвёртый этаж. Входит в кабинет, где находятся несколько столов. Здравается с коллегами. Надевает плащ на плечики в шкаф-купе, садится за рабочее место, включает компьютер. Поворачивается на стуле к Варваре:

— Спрашивал?

— Ну а сам-то ты, Бузыкин, как думаешь? Велел зайти, как появишься.

— Злой?

— Нет, блядь, добрый как Дед Мороз... Скажи, как бы ты перевёл «суки конченые»?

— Bough the last. Шучу.

— У этого Скофилда столько трудного.

— Варвара, ты же знаешь.

— Да знаю, знаю. Я же просто так посмотрела, для общего развития.

— Даже не думай.

Из стеклянного кабинета с жалюзи появляется Веригин, приглашающе зовёт Бузыкина пальцем к себе. Тот входит, останавливается перед столом руководителя.

— Здравствуй, Андрей Павлович, — Веригин перебирает пальцами по клавиатуре, смотрит в монитор.
— Здравствуйте, Георгий Николаевич.
— Что нового?
— Вы знаете, сегодня нас с Хансеном полиция остановила на утренней прогулке...
— Хансен уже был на прошлой неделе. Я спрашиваю, что нового?
— Я же говорю...
— Что нового с текстом «Сладкий поцелуй»? — Веригин поворачивает монитор к Бузыкину. — Вот ваш план, вот Трайдинг, Мюллер, Скофилд. Мюллер должен быть сдан вчера, а вы ещё Трайдинга не закончили.
— Завтра, Георгий Николаевич, завтра сдам Трайдинга. И в понедельник Мюллера.
— Уж будь добр, — Веригин теряет интерес к собеседнику, опять погружается в компьютер.
Бузыкин идёт к двери и слышит за спиной:
— Андрей Павлович, если не успеваешь, я «Турецкие бани» отдам Скороходову. Он настаивает.
Бузыкин возвращается к столу, умоляюще прижимает ладони к груди:
— Георгий Николаевич, вы же знаете: Скофилд — это моё.
— Знаю, потому и говорю. А ты, Андрей Павлович, работай лучше вместо того, чтобы по стареющим мальчикам бегать.
Бузыкин замирает. Веригин в последний раз достаивает его взглядом:
— Санкт-Петербург — город маленький. Завтра жду Трайдинга.

Бузыкин с Варварой курят в коридоре. У Андрея Павловича звонит телефон:
— Здравствуй... Да, Виталий, разумеется. Никак не получалось раньше, извини... Буду у тебя в четыре... Я же обещал.
Варвара тушит окурок в банке из-под кофе:
— Ох, Бузыкин, бросит он тебя, как мой Володька. Помяни моё слово.
— Варвара, сколько тебе можно говорить...
Из соседней двери выглядывает голова девушки.
— Андрей Павлович, зайдите в тон-студию, у Валеры вопрос есть.
— Иду.
Бузыкин смотрит на часы, потом на Варвару:
— Я оттуда убегу уже сразу. Прикрой меня сегодня.
Варвара понимающе вздыхает.
У пульта стоит молодой человек, сердито спорит со звукорежиссёром:
— Если здесь написано «сними наручники, я устал», почему в этой сцене нет наручников?
Обращается к вошедшему Бузыкину:
— Андрей Павлович, давайте вместе посмотреть, как правильно озвучить эту сцену. Сначала, Юра.
На экране за стеклом тон-студии лежит привязанный за руки к спинке кровати голый мускулистый негр. Рядом расположились две пышные блондинки. Процесс озвучки порнофильма режиссёра Трайдинга продолжается в присутствии автора перевода.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ, кстати.
Андрей Павлович Бузыкин — Константин Эрнст

Виталий Шершавников (любовник Бузыкина, инженер) — Александр Балугев
Нина Евлампиевна Бузыкина (жена Бузыкина) — Марина Зудина
Василий Игнатьевич Харитонов (сосед Бузыкина) — Антон Макаровский
Билл Хансен (профессор из Дании) — Лео Ди Каприо
Дядя Коля (сосед Виталия) — Сергей Колтаков
Варвара Никитична (однокурсница Бузыкина) — Рената Литвинова
Лена (дочь Бузыкиных) — Любовь Новикова
Виктор (зять Бузыкиных) — Сергей Зверев
Георгий Николаевич Веригин (директор ООО «Транслейт Продакшн») — Алексей Панин
Алина Кабаева (не снималась в фильме, но указана в титрах)

ЗЫ. Оказывается, фб не даёт публиковать совсем уж длинные тексты. Так что будем считать это первой главой сценария. Ниже буду вывешивать следующие части.
А пока комментируйте, не стесняйтесь.)».

Вот так, значит. Вот такой у него, значит, сценарий. Вот так, стало быть, теперь можно. Удивил Хорт, честно, удивил. И не пойму, в какую сторону: когда читал, хохотал в голос, а потом вдруг страшно стало. Не за себя, не за этого придурочного Виталика, а за время, что ли? Получается, что ничего сейчас святого не осталось. Ладно, я не про пресловутый советский пломбир за двадцать копеек — про то пусть пламенные зюгановцы переживают, а мы, слава богу, не из этих: мы за прогресс, за разумный капитализм, за современное свободное государство.

Но должна свобода иметь какие-то рамки или нет? Даже не внешние, а внутренние — или каждый вольный художник может плевать в своё прошлое? И не в это вот, на которое дрожат сталинисты, а вполне приличное, нежное, достойное, ни в каких совковых грехах не замеченное. Фильмы Данелии до сих пор любят все — правые, левые, красные и голубые. Так зачем же плевать в душу людскую своей дурацкой пародией? Пусть она хоть трижды смешная. Ну, посмотрим, что там Хорту в камментах пишут, а то, может, я один тут такой, не понимающий современное сетевое творчество.

Алик Строгий: А кто такой Александр Моисеевич?

Скотт Скотов: Ливищ.

Алик Строгий: И каким боком к этому пошлому тексту какой-то еврей?

Скотт Скотов: Ни к чему вам.

Алик Строгий: Ты, мудака, поучи меня ещё тут. Я «Осенний марафон» трижды в кинотеатре смотрел, когда тебя ещё на свете не было. Гениальный фильм. И евреев там ни одного не видел. Так что отвечай по делу, не сливайся.

Скотт Скотов: Гениальный, значит. А сценарий фильма чей?

Алик Строгий: Да мне похуй. Ты на вопрос отвечай.

Скотт Скотов: Так вот, умник, фильм «Осенний марафон» поставлен по пьесе Александра Моисеевича Володина, которому я сразу принёс свои извинения.

Хоть ему там, на небесах, эти извинения, понятно, параллельны.

Алик Строгий: Да и хер бы с ним. Ливищ — ЭТО КТО???

Скотт Скотов: Ливищ — настоящая фамилия Володина.

Скотт Скотов: Чо молчим уже полчаса, жсыдоед?

Скотт Скотов: Не будет ответа. Как и ожидалось.

А я и не знал, что Володин — еврей. Просветительствует тут Виталий, издевается над тёмным народом. Впрочем, «тёмен, но мудр» — не про конкретный случай. Сам пламенных борцов с еврейством на дух не выношу. Так что правильно Хорт этого урода по стенке размазал...

О, ещё один комментарий появился.

Птица Феникс: Пелевин — не писатель, зря вы его на стенку у Бузыкина рядом с Достоевским повесили.

Скотт Скотов: Так это не я, это Бузыкин повесил. Или, скорее, Нина Евлампиевна. Я не могу отвечать за литературные пристрастия персонажей.

Птица Феникс: Если Нина Евлампиевна, то я не возражаю. Она же дура. А вам лично нравится Пелевин?

Скотт Скотов: Не нравится, он мне предельно скучен. Каждый раз заставляю себя читать его новый роман. Недавно прочитал «Т», больше ничего не буду. Потому что через неделю вообще не помню его сюжетов.

Птица Феникс: Руку, товарищ! Полку ненавистников Пелевина прибыло. Обнимаю вас нежно. Откланялась.

Пелевин тут ещё какой-то. Когда только мода на него начиналась, спросил у Эли, стоит ли читать. Сказала, что не стоит, модернистская какая-то ерунда для компьютерных администраторов и прочей недалёкой технической интеллигенции. Зато сказала, что появился какой-то Акунин: хоть и детективщик, но настоящий писатель, не Донцова, прости господи. И подсунула книжку «Коронация», которую я за два дня проглотил, не отрываясь. С тех пор ни одного романа про Фандорина не пропустил. И про Пелагию, и про других главных персонажей, хоть они и не такие интересные получились, как Эраст Петрович.

Нет, Акунин действительно писатель, не какой-нибудь Пелевин. Так что и здесь, выходит, прав этот чёртов пародист.

Егор Брянцев: А тут, значит, пидоров в литературные герои выводят. Нахуй, отписался.

Скотт Скотов: И вам не хворать, милый человек.

Егор Брянцев: Сам ты милый человек.

Скотт Скотов:)

Валерия Щукина: Откуда вы только здесь выползаете, гомофобы пещерные? В реальной жизни, небось, прячетесь, не желая прилюдно свою звериную натуру выказывать. Люди позапрошлого века.

Егор Брянцев: Чего мне бояться? Я и в реале вашу голубую братию головой в парашу всегда засуну при случае. Народ никогда не примет ваших толерастических взглядов, придурки.

Валерия Щукина: Не устал расписываться за весь народ, гомофоб?

Егор Брянцев: В жопу иди.

Биг Фауст: О чём мы здесь спорим? О литературной пародии, следовательно, о литературе, а не о гомофобии. Мне показалось, что персонаж Бузыкина выписан вполне ярко, он мне интересен независимо от его сексуальной ориентации. А дальше посмотрим.

Скотт Скотов: Вотъ.

Егор Брянцев: Ну, кому-то нравится разглядывать в микроскоп человеческую блевотину.

Валерия Щукина: А вас кто-то заставляет? Тем более что вы уже должны были полчаса как отписаться от страницы автора.

Понятно, тут теперь на три дня срач развернётся между либералами и

охранителями. Скучно.

Но Хорт точно не голубой. Или не точно? Да точно, не первый год его знаю. Тогда зачем он Бузыкина гомосексуалом выставил? А потому что принято сейчас так у них: без скандальных откровений популярности у нынешней высоколобой публики не обретёшь, вот и старается Виталик, выслуживается перед милыми его сердцу либерзонами.

Только зря это он, в наших чиновных палестинах на таком можно крепко погореть. Потому что в чести нынче духовные скрепы, а не это вот всё.

Праздник Петра и Февронии на дворе, а не Чайковского какого-нибудь. Не все ещё это понимают, потом дойдёт, да поздно будет.

А с другой стороны, Хорт всегда может сослаться на жанр пародии: дескать, высмеивал непомерное увлечение либеральной общественностью гомосексуальной тематикой. Вскрывал, так сказать, язвы современного общества, обличал и развенчивал. Только пройдёт ли такой оправдательный номер у показательно православных карательных органов? Вообще не факт. Впрочем, чего я тут за Виталю распереживался? Он мне не сват, не брат и не писатель Акунин, которому и в голову не придёт вдруг предъявлять публике неожиданную ориентацию сыщика Фандорина. Вот это-то и отличает серьёзного и качественного литератора от сетевого графомана. Даже если литератор и фрондирует своими оппозиционными взглядами. Так в свободной стране живём, у нас за это, слава богу, не сажают...

Впрочем, у нас и за неубранную пыль в квартире не сажают, но выволочку Эля за манкирование руководящим указанием легко может устроить, а оно мне надо? Пора закрывать ноутбук и пылесосить квартиру. Потом почитаю, что там дальше у Хорта и как.

Зира у Бохадыра всегда весёлая, остропахнувшая, растёртая в порошок крепкими ладонями рыночного торговца. И кориандр ещё прикупить не забыть — конина не требует других специй: степные кочевники были людьми простыми, не избалованными высокой европейской гастрономией. Чингизиды без затей забивали на корм свой ослабевший или травмированный гужевого транспорт, бросали мясо под седло и скакали на нём день или два, а потом уже просолённую конину варили в походных казанах, бросая в бульон степные приправы, из которых, считай, один кориандр там и рос. Потому казахская кухня считается, мягко говоря, невысокой у просвещённых европейцев, которые, кажется, вообще не держат лошадь за еду. Ну так если дураки, что с них взять?

— У кого тут сегодня конина получше, Бохадыр?

Узбек внимательно оглядывает торговые ряды, одновременно скручивая бумажный пакетик для зиры, уточняет:

— Что готовить собрался? Шурпу, казы, бешбармак?

— Мякоть нужна без костей, просто тушить буду.

— Подожди.

Торговец специями вручает мне зиру и кориандр, срывается с места к мясным рядам, что-то спрашивает у одного продавца, у другого, возвращается:

— К Гуле через пять минут иди, вон стоит, руку подняла, видишь? Сейчас ей свежатину подрубят, лучший кусок отдаст, спасибо потом мне скажешь.

— Я и сейчас скажу: спасибо, Бохадыр.

— Э, сейчас за что? Потом скажешь, когда сам вкусно поешь, семью накормишь, друзей. С мясом сейчас нехорошо становится, выбор уже не тот, ты

правильно у меня спрашиваешь. Другие сами считают, что умные, потом жалеют, когда дурную баранину покупают, конину.

— А что так, почему?

Дождливый день, посетителей на рынке мало, торговцу скучно, поговорить не с кем, а я его давний, годами проверенный покупатель, со мной можно откровенно. Или наоборот, тут с восточными людьми сложно.

— Сам не понимаешь? — Бохадыр щурит на меня свои совсем не узкие узбекские глаза. — Крым же.

— А что с Крымом не так? — вот уж где я не ожидал политической дискуссии, так на Центральном рынке, даже интересно.

— Ты хороший человек, и он хороший, — пожилой узбек указывает подбородком на блондина, покупающего за соседним прилавком маринованные острые перцы. — И женщина вон та хорошая, и старик этот. А когда вы все вместе, то сумасшедшие. Так у нас в мечети говорят.

— Почему?

— Потому что радуется, что у соседей Крым отобрали. У нас здесь мало татар оттуда, но они есть. И люди говорят, что сейчас вы на Украину напали, а завтра на Казахстан пойдёте, потому что жадные и веры в вас истинной совсем нет. Многие собираются уезжать, не хотят больше жить в России. Так что с бараниной и кониной тут сложно будет скоро, но ничего, приходи ко мне, всегда помогу.

— Сам-то остаёшься, значит?

— Я в Зареченске скоро уже двадцать лет как живу, куда мне ехать? Привык... О, Гуля зовёт. Иди, иди.

Бохадыр на прощание традиционно уважительно пожимает мою ладонь двумя руками, отворачивается к подошедшей покупательнице:

— Набор для плова? Сейчас самый лучший устрой, не пожалеешь, красавица. И Бохадыру, значит, наш Крым поперёк горла встал. Что ж, буду теперь специи у других продавцов покупать, мало ли их на рынке. Но Эле устрой сегодня сюрприз из тушёной конины, которую она обожает — даром, что ли, в приграничном с Великой Степью Зареченске всю жизнь прожила. А то фарш какой-то, прости господи, придумала.

Однако после отпуска нужно попробовать на совещании у министра поставить вопрос о мониторинге настроения мусульманского электората. Казахов в Зареченске традиционно много живёт, и они, оказывается вон какую пропаганду в мечетях ведут. Полезно бывает в народ ходить, очень полезно.

Глава 3. Подсматривающий

А с кониной всё просто: режешь мякоть пластами размером в пол-ладони, смазываешь стенки казана сливочным маслом, бросаешь несколько кубиков его же на дно, укладываешь слоями мясо и крупно порезанный полукольцами лук, солишь, сдабриваешь бохадыровскими специями, вливаешь по стенке полстакана воды и тушишь на медленном огне пару часов. Кочевники с готовкой не заморачивались, не галлы какие-нибудь, прости господи. Оттого и захватили чингизиды половину подлунного мира, потому что без затей. Да, собственно, и русская кухня не сказать, что шибко замысловатая, нам тоже время тратить на неё некогда было, пока империю свою расширяли.

Пассионариям не до гусиных паштетов или там до борща с пампушками, нам чего посущественнее подавай: Сибирь, например, Курилы или Крым какой-нибудь. Просто и со вкусом. А там уж пусть покорённые народы кормят нас

своими оленьими языками или татарскими чебуреками. Или хоть кониной, потому что могила Чингисхана давно утеряна, а мы, русские, вот они, и Великая Степь тоже, по сути, наша, только дай срок — вернём и Байконур, и Семипалатинский полигон. Что бы вам там ваши муллы не говорили в своих мечетях. Потому что мы русские, с нами Бог. А кто сомневается, нынешний Крым тому в разъяснение...

Когда готовишь на кухне, всегда голова занята чем-то отвлечённым, сегодня вот зачем-то империализмом. Ну, пусть. И что характерно, рот тоже живёт отдельной от головы и рук жизнью — ему некогда на всякие глупости отвлекаться, он весь в песенном творчестве. Дадим команду ушам прислушаться: «Думы поросятские, свиньи забубённые, бестолковая хрю-хрю, конина удивлённая». Это я сейчас такое пою. В смысле, не я, а мой рот, который почему-то всегда в кухонном процессе живёт в стороне от головного мозга. Эльвира однажды потихоньку записала меня в такой момент на телефон, и Берточка потом весь вечер, хихикая, видео крутила, просила ей скинуть, чтобы подружкам в классе папочку родного показать во всей его красе, напевающего над разделочной доской: «Изгиб татаров жёлтый ты запиваешь водкой, космополит безродный проткнёт кусись-мисись. И холодец холодный под скатертью свободной поможет всем голодным сегодня собрались». По-моему, нормально, не хуже, чем у Митяева, но Эля не позволила состояться покушению на родительский авторитет. Ну и ладно, ей виднее...

А у меня процесс завершён, казан накрыт крышкой, дальнейшего моего участия в приготовлении блюда степных кочевников не требуется. Не котлеты, чай, какие-нибудь.

Но если вдуматься, то всё ведь в природе человеческой взаимосвязано. Не просто так же я пою эту белиберду на кухне или под душем. Подсознание выталкивает что-то на поверхность, даёт какой-то сигнал. «Думы поросятские, свиньи забубённые» — на мотив песни Кима «Думы окаянные», которую поёт Любшин в фильме «Пять вечеров», так? Так. Кино сделано Михалковым примерно в одно время с данелиевским «Осенним марафоном». А главное, обе картины сняты по пьесам Александра Володина или, как объясняет в фейсбуке Хорт, Лившица.

Вот и разгадка работы подсознания, вот и бинго. Теперь можно и дальше хортовскую пародию почитать, два часа у меня совершенно свободны, как Пятачок.

«Шершавников лежит на своей старой тахте и смотрит по телевизору бой Фёдора Емельяненко против Монсона. Бузыкин ест котлеты.

— Андрей, ты бы смог выйти в ринг против такого гориллы?

Бузыкин отставляет пустую тарелку, глядит на экран.

— Которого из них?

— Ну, вот этого, татуированного, из Америки.

— Нет.

— Жаль.

— Он бы меня убил, а тебе жаль.

— Да. Но это была бы геройская смерть... Вкусно?

— Конечно, как всегда. Ты у меня шикарно готовишь котлеты.

— А харчо?

— И харчо.

Бузыкин смотрит на часы. Раздаётся стук в дверь, в комнату заходит дядя Коля:

— Виталик, что ж у тебя не заперто? — замечает Бузыкина. —

Здравствуйте, Андрей Павлович.

Бузыкин вытирает руки полотенцем, встаёт из-за стола, протягивает ладонь соседу Шершавникова:

— Здравствуйте, присаживайтесь.

Дядя Коля садится за стол. Какое-то время все молча наблюдают за тем, как Фёдор увечит Монсона. Бузыкин следит за стрелками настенных часов. Хочет что-то сказать, но его опережает дядя Коля:

— А вы на Болотной вчера были, Андрей Павлович?

— Нет, что я там забыл.

— Вам, понятно, виднее: вы человек умный, образованный. А я вот был.

Шершавников морщится:

— Я прошу, дядя Коля, не начинай.

— Хорошо, Виталик. Вот только у Андрея Павловича спрошу: выборы честные были, как на духу?

— Не знаю, наверное. А каким им ещё быть?

— Вот-вот, так нам эрнстовское телевидение и внушает.

— А чем вам не угодило эрнстовское телевидение?

— Ничем. Только Эрнст продажная шкура и пидорас. Вся Москва об этом говорит.

— Ну нельзя же так. Вам там, на Болотной эти шендеровичи совсем уже мозги заполоскали.

Шершавников резко встает с дивана, нервно ломая руки:

— Андрей, замолчи! Это невыносимо! Дядя Коля, идите уже.

Дядя Коля обиженно замолкает, идёт к двери. Оборачивается:

— Я, Андрей Павлович, его отцу обещал, что Виталику заместо него буду. А тут вишь как все оборачивается.

Хлопает дверь. В комнате нагнетается угрожающая тишина. Часы показывают восемь вечера. Бузыкин встает:

— Я пойду?

Шершавников смотрит в окно, нервно дёргает спиной. Бузыкин мнётся в нерешительности:

— Мне, правда, пора уже.

— Иди.

— Ты же знаешь.

— Иди, иди. Кургиняна своего поцелуй и Нину Евлампиевну свою.

— Ладно, не пойду никуда, — садится одетый на стул у двери.

Виталий оборачивается:

— Ты за супругу оскорбился или за Еврандовича?

— Лимоновец ты, Виталий. Каким был, таким и остался.

— А ты мудака. Такой же как Эрнст: холодный, подлый и расчётливый.

— Скажи, кто тебе дал право оскорблять совсем незнакомого человека?

— Совесть.

— Откуда у вас, революционеров, совесть?

Шершавников бледнеет, в глазах застывают слёзы, руки дрожат. Молчит, с ненавистью смотрит на Бузыкина. Андрей Павлович окончательно срывается:

— Вы же там все сумасшедшие. Ты оглянись вокруг, выйди из своего убогого протестного мирка, в окно посмотри.

— И что я там увижу?

— Жизнь. Нормальную человеческую жизнь, о которой вам, болотным, постоянно напоминает Сергей Еврандович. Ведь ни Кургинян, ни Путин не виноваты, что вы остались в лихих 90-х со своими нелепыми либеральными идеалами. Все нормальные люди работают, квартиры покупают, машины, а вам никак не идёт. Как ты не поймёшь, что твои кумиры, все как один, проплачены госдепом, что они рвут на части нашу Родину по плану Даллеса. Правильно Кургинян вас манкуртами называет. Безродные манкурты. Глаза Виталия уже сухи, голос холоден и твёрд:

— Вон.

— Что?

— Пошёл вон, путинская мразь! Сталинский выкорыш! Михалков!

— Кто Михалков? Я Михалков? Тогда ты будешь петь мой гимн. Стоять смирно! «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь...»

Дверь распахивается, в комнату входит дядя Коля. Сверлит взглядом замолчавшего Бузыкина:

— Ключ.

— Что?

— Ключ от квартиры. И чтоб я твою путиноидную харю здесь больше не видел.

Бузыкин путается в карманах, наконец находит связку ключей, отцепляет от брелка один из них, протягивает дяде Коле. Тот прячет ключ и с размаху бьёт ногой Бузыкина по яйцам. Андрей Павлович оседает на пол. Шершавников прижимает руки к лицу.

В телевизоре начинается программа Владимира Соловьева «Поединок».

Лихо завернул Виталия, ничего не скажешь. Осветил, стало быть, весь текущий политический момент. Хотя, какой он текущий? Год назад ещё можно было считать существенным вечный спор между остроконечниками-охранителями и тупоконечниками-хипстерами. Теперь же Крым всё расставил по своим местам: народ в восторге от возвращения полуострова в родную гавань. В таком восторге, от которого даже меня опасливая оторопь берёт, но это не главное. Главное, что интеллигенция традиционно страшно далека от народа — настоящего народа, не того, что веселился на Болотной площади с плакатами «нашу крысу тошнит». Повеселились, как бы плакать теперь не пришлось. И поделом.

Так что правильный Бузыкин у Хорта выписан, реальный герой нашего времени, хоть и гей. Ничего, Милонов тоже, знаете, не без странностей, но дело своё добре знает. И даже хорошо, что разбушлатилась нынче фейсбучная либертота: есть специально обученные люди, которые аккуратно берут сейчас на карандаш всякого, кто на крымскую спецоперацию твякает, на митингах глотку рвёт, Навальному донатит.

Эх, не сформировалась ещё патриотическая интернет-общественность, которая не по служебному долгу, а по зову сердца вычисляет предателей Родины на сетевых просторах, чтобы информировать власть о каждой либеральной сволочи с необратимыми для неё последствиями. Нужна, обязательно нужна какая-нибудь Молодёжная полиция интернет-нравов для этой цели. Прямо вот есть общественный запрос на такую структуру, всем нутром своим это ощущаю. Нужно бы с Элей тему проговорить, вынести, так сказать, идею на публичный

уровень в городской газете: и «Вечёрке» польза выйдет на продление финансирования из муниципальной казны, и обществу польза.

Не психическому фейсбучному, понятно, от этого общества понимания ожидать не приходится. Хотя вот комментарии взять под текущим Хортовским пасквилем.

Чарли Чаплин: Хороший кастинг, одобряю. Только про Любовь Новикову первый раз слышу. Кто такая, чем знаменита?

Андрей Быков: В «Рассказах» Сегала тупую студентку играла. «О чём с тобой трахаться?»

Скотт Скотов: Точно.)))

Чарли Чаплин: Нет, не смотрел. Рекомендуете?

Скотт Скотов: Самым категорическим образом.

Андрей Быков: Присоединяюсь, крайне достойная фильма.

Чарли Чаплин: И ещё не понял: причём тут Алина Кабаева, если она не снималась в кино?

Скотт Скотов: Была такая у Даниила история с одним персонажем, который не снимался в «Осеннем марафоне», но присутствует в титрах.

Чарли Чаплин: Да ладно? Фамилию не подскажете?

Скотт Скотов: Гугл вам в помощь, добрый человек.

Ну, это, допустим, ладно: киноманы обсуждают сценарий фильма, это на здоровье. Я бы и сам, глядишь, пару реплик вставил, чтобы лишнюю спесь с Виталика сбить. Типа: а как Скотт Скотов оценивает недавнюю премьеру в Зареченском «Шестом театре» под названием «Последний пролёт Крымского моста»? И поглядел бы, как выкручивается начальник отдела литературы и драматургии областного минкульта, самолично допустивший на театральные подмостки пьесу старейшего зареченского драматурга Свёклина, повествующего зрителю о грядущем трудовом героизме крымских мостостроителей с тем же поросычьим восторгом, с которым он писал о подвиге Леонида Ильича Брежнева на Малой земле.

Конечно, Скотт Скотов мог бы сделать удивлённый вид и ответить, мол, причём здесь какой-то Зареченск, в котором он отродясь не был и фамилию Свёклина впервые слышит — потому что сетевая анонимность у нас тут, позволяющая никак не отвечать за свои слова. А я бы ему в ответ вывесил скан министерского приказа в том числе и за хортовской подписью, выделяющий из областного бюджета определённое количество миллионов рублей на сценическое освоение государственного патриотизма. Есть у меня свой человечек в минкульте, который подгоняет разные внутренние документки — так, на всякий случай. И расшифровал бы прогрессивной общественности, кто у нас тут есть в действительности записной свободолюбец, разговаривающий со своими подписчиками через презрительную губу. И почитал бы потом срач на пару сотен камментов...

Впрочем, всё это мечты на фейсбучных полях. Дураков нет отмечаться в сетевых баталиях. Сегодня этот фейсбук формально легален, хоть и не поощряем в чиновной среде, а завтра, чем чёрт не шутит, объявят его объектом вражеского информационного влияния, и загремит всяк его активный пользователь под фанфары. Сомнительная перспектива, конечно, но мы же в России живём, не в каких-нибудь диких Нидерландах, у нас тут от суммы да от блокировки интернета не зарекайся.

А наше дело наблюдать за хипстерскими настроениями, никак себя не афишируя. И не то чтобы так уж для пользы дела, а просто забавно

рассматривать в микроскоп всяких микробов, отчего-то считающих себя совестью, мать их, нации.

Ольга Александровна: Про «Андрей, держи хуй бодрей» отлично просто. Я так хохотался!)))

Семён Семёныч: Корнет, вы мужчина или женщина?

Ольга Александровна: А вы с какой целью интересуетесь?

Скотт Скотов: Спасибо, Ольга. Приятно слышать.

Валерия Иллеш: А мне неприятно. Матерящаяся женщина должна работать грузчиком, а не изливать своё бескультурье в фейсбуке. И любые потуги на литературу моментально разбиваются на нецензурной брани и остаются только потугами. Гоголь матерился? Лермонтов? Достоевский? Пушкин? Потому они останутся в памяти народной гениями, а бескультурные графоманы абсолютно никем. Если человек не умеет изъясняться без употребления обцененной лексики, то его умственное развитие заторможено на уровне пятилетнего ребёнка, который только начинает лексически познавать этот мир и не видит словесной разницы между добром и злом. Извините, наболело. Храни вас Б-г.

Ольга Александровна: А больше я вам ничего не должна?

Валерия Иллеш: Вы не мне, вы себе должны быть культурной. Тем более, женщина.

Ольга Александровна: Нахуй иди.

Валерия Иллеш: Продолжайте материться, если вы больше ничего не умеете. Унижайте себя ещё больше.

Скотт Скотов: Ну, если мои персонажи разговаривают так, как умеют, я же не могу им запретить, не так ли, Валерия?

Валерия Иллеш: Можете. Вы и только вы определяете в устах своих героев их лексику. Если вы не обладаете достаточным словарным запасом, чтобы ваши герои выражались культурно, то это гораздо в большей степени говорит о вас, как об авторе, нежели о ваших персонажах.

Виктор Гродников: Ознакомьтесь:

С утра садимся мы в телегу;

Мы рады голову сломать,

И презирая лень и негу,

Кричим: «Пошёл! Ебёна мать!»

Валерия Иллеш: И зачем здесь эта мерзость?

Виктор Гродников: Это не мерзость, это Пушкин. Александр Сергеевич.

Стихотворение «Телега жизни», датировано 1823 годом.

Валерия Иллеш: Пошлая подделка.

Виктор Гродников: Не поленился, сфотографировал страницу. Издательство «Художественная литература», 1985 год, том первый, стр. 298. Можете и дальше упорствовать: мне всё равно, а вам приятно.

Скотт Скотов: Смотрите, Валерия. Мы оба с вами в достаточной мере владеем русским языком, имеем примерно одинаковый лексический запас. При этом, в отличие от вас, я дополнительно владею таким инструментарием, как нецензурная брань во всех её замысловатых проявлениях. Согласитесь, что при прочих равных мой русский получается богаче, чем ваш, нет?

Валерия Иллеш: Нет.

Скотт Скотов: Пачиму?

Валерия Иллеш: Потому что это не русский язык.

Скотт Скотов: А.

А я привык уже к матерному интернетному. Не то чтобы одобряю публичную нецензурщину, просто не замечаю, отвык замечать. Собственно, ещё лет десять назад резали слух солёные словечки, особенно в громкой подростковой речи, но сейчас уже нет. Просто молодёжь теперь так говорит, потому что сместилась языковая норма.

Кто должен следить за лексикой малолетних нарушителей так называемого общественного порядка? Понятно, менты. А они что, между собой на каком-то другом языке разговаривают, стародворянском? Так нет же. И почему они должны штрафовать других за то, что сами считают допустимой нормой? Это какая-то получается нелепая дифференциация общества по цвету штанов, как объяснял нам Данелия в другом своём известном фильме.

И то сказать, российскому человечеству, пережившему на своей недавней ещё памяти голод перестройки, крушение коммунистических идеалов, дикий начальный капитализм, две чеченские войны и безграничную свободу отвязанной прессы, трудно предъявить претензию к пониженной языковой норме. Тут и британский лорд не выдержал бы лексического несоответствия правил приличного тона с окружающей реальностью, заговорил бы со всеми изысками устной матросской речи.

Впрочем, я понятия не имею, как говорят в портах Лондона и Ливерпуля. Да и пофиг мне, если честно. Правда, подумал-то я наречие не «пофиг», а слегка по-другому, но сам себя в голове успел поправить: то есть, некий внутренний налёт былой респектабельности всё ещё старается удержать меня в рамках былых общественных приличий. Это оттого, что я внутренне несвободен, что ли? Ну, наверное. Да и хрен с ним.

Ольга Александровна: По авторскому замыслу, Бузыкина у вас должен играть Константин Эрнст. Получается, что на экране дядя Коля говорит в лицо Бузыкину, что Эрнст продажная шкура и пидорас. И персонаж Эрнста это утверждение про себя оспаривает. Очень тонкий постмодерн. Аплодисмент.

Биг Фауст: Не Тарантино, конечно, но действительно смешно.

Скотт Скотов: И в мыслях ни разу не сравнивал себя с Тарантино.

Ольга Александровна: Фауст, а причём здесь вообще Тарантино? Какой отношение он имеет к постмодерну?

Биг Фауст: Никакого, значит никакого. Вы только не волнуйтесь.)

Ольга Александровна: Я спокойна, как утюг.

Скотт Скотов: И всё же я присоединился бы к вопросу Ольги.

Биг Фауст: Потому что нужно внимательно смотреть Тарантино, понимать, что в его фильмах полным-полно прямых цитат и отсылок, которые и создают его личный постмодерн.

Ольга Александровна: Например?

Биг Фауст: О, у нас тут говорящий утюг.) Например, все помнят в «Палп фиксин» сцену парного танца Турман с Траволтой, да? Теперь делаем ап! И прикладываем ютубовскую ссылку на парный танец в кинесе Феллини «8 1/2», шестьдесят второго года издания, что ли. Наслаждайтесь.

Ольга Александровна: Хренасе.

Скотт Скотов: Да, аргумент. Я и не подозревал, что Тарантино здесь настолько буквально цитирует Феллини. Благодарю.

Биг Фауст: Обращайтесь.) Но мы отвлеклись: я изначально всего лишь выразил

одобрение вашего приёма с персонажем Бузыкина-Эрнста. Это не Тарантино, это другое, но вполне себе любопытное и постмодерновое.

Ольга Александровна: И немедленно выпил.

Семён Семёнович: Повторяю вопрос: корнет, вы мужчина или женщина?

Ольга Александровна: Иди книжки читай, просвещайся. А лучшие просто в жопу иди.

Нет, Виталия сегодня безусловно в ударе. И даже не сам Скотов, а его фейсбучная клиентура: вон этот просветитель Биг Фауст из Можайска какой отличный ролик здесь выложил. Надо скопировать, отправить Сороке, как Тарантино танец у Феллини попятил. Витька большой любитель «Криминального чтива», пусть порадует за кумира, подворовывающего чужие шедевры. Или там цитирующего их, а по мне так одна хрень...

Из пролистывания интернета выдернул звонок от Эли:

— Привет, чем занимаешься?

— Фейсбук читаю. Там твой Хорт сегодня пародию на «Осенний марафон» написал. Смешная.

— Хорт умеет, есть у него такой талант... Фарш купил?

— Нет, тушёную конину готовлю. Захотелось вдруг.

— Инициативу одобряю... Квартиру пропылесосил, отпускник?

— Ещё до рынка. Берте звонила?

— Да, она уже в художке. Через пару часов заберу её и будем дома... Посмотри, пожалуйста, на полке под зеркалом ключи от дачи не лежат? Хотела заехать сегодня, огурцов набрать, салат на ужин сделать, а ключи найти не могу.

— Лежат.

— Ну и хорошо, а то думала, что в магазине выронила.

— Это ты умеешь.

— Ладно, пока. До вечера.

До вечера так до вечера. Пойти мясо посмотреть, отвлечься от этих фейсбучных умников.

Глава 4. Про гимнастов и людей

«А ты не знал, что ли, про Феллини? — интересуется эсэмэской Сорокин в ответ на отправленное ему видео из фильма «Восемь с половиной». — Хорошо, наверное, быть тёмным, как бунинские аллеи».

Что-то все сегодня разумничались вокруг. Хотел написать Витьке, чтобы клиентам свою образованность показывал — то-то у него продажи вырастут, если в каждом магазине «Сорока-плюс» продавцы станут продавать лодочные моторы исключительно знатокам Бунина с Тарантино. «Желаете «Тохацу-18»? Будьте добры, перескажите в двух словах рассказ «Сто рупий»... Ну как же? Бунин, сборник «Тёмные аллеи»... Очень жаль. Мы не продаём моторы покупателям, не знакомым с творчеством первого российского нобелевского лауреата по литературе. Прочитаете — приходите... И вам всего наилучшего, всегда рады вас видеть в нашем магазине». Ладно, сейчас лень. В субботу на бильярде подскажу плодотворную бизнес-идею.

Бильярдист из Сороки так себе: кладка чужих хорошо поставлена, а на своих регулярно винты путает — то не докручивает биток, то перекручивает, об отыгрышах и думать отказывается. Вот и выходит, что в лобовой атакующей американке у Витька, как правило, преимущество, а там, где не только бить по шарам, но и соображать нужно — в невке, скажем, или в московке — он мне не

соперник. Потому по итогу традиционного трехчасового субботнего бильярда чаще всего за обед в ближайшем восточном кафе «Мангал» рассчитывается Сорокин: такой уж уговор, такие правила.

На днях вообще запретили курить во всех не только общепитовских точках, но и в бильярдных залах. А какой бильярд без крепких напитков и сигарет?

Правильно, бессмысленный, как безалкогольное пиво. Что-то совсем они уже там наверху заигрались со здоровым образом жизни и прочей рекультивацией всепобеждающего традиционализма.

Я-то ладно, я перетерплю как-нибудь, а Сорока, он резкий с юности всегда был. На прошлой неделе так и заявил в чайхане: «Запретят курить — ноги моей ни в одной бильярдной не будет! Хотят убивать бизнес в стране — я им в этом помогу. Достали, паразиты!» Это уже на второй бутылке виски было, под люля-кебаб. Потом допивать в ближайший сквер на скамейку вышли, а Витёк всё остановиться не мог, хоть я и уговаривал его не кричать, не на митинге. В финале он пообещал, что поставит личный бильярдный зал у себя на участке, там и играть будем, и пить, и курить. А загородный дом у Сороки («изба», как он его называет) в ста двадцати километрах от города, шибко не наездишься, хоть в этой «избе» не только бильярдный стол можно поставить, там и хоккейная площадка, пожалуй, поместится...

Ладно, чего загадывать на будущее: проблемы нужно решать по мере их поступления. А поступлений на сегодня пока никаких нет. Жизнь продолжается, в субботу бильярд, вечером конина...

Что-то есть захотелось, кухонный аромат покоя не даёт. Ну а кто нам, отпускникам, может запретить положить вот так на тарелку пару кусков дымящегося мяса безо всякого гарнира, достать из холодильника початую бутылку «Немироффа», плескнуться от души в большую гранёную рюмку и закусить свежим дачным помидором? Никто нам этого запретить не может, тем более что Эля на работе, а вечером я их с Берточкой отдельно накормлю.

Эх, хорошо! Понимаю хортовского Бузыкина, вдруг решившего выпить водки с раннего утра. Бывает такое, ага... Кстати, что там дальше с его приключениями? Ну-ка, ну-ка...

Утром, когда в питерских окнах уже гаснет за ненужностью электричество, Бузыкин торопится домой. У своего парадного сталкивается с Мухтаром и Василием Игнатьевичем.

— Андрей, доброе утро, — прикладывает руку к берету сосед.

— Здравствуйте, — Бузыкин собирается проскочить в подъезд, но Василий Игнатьевич задерживает его за рукав.

— А что приключилось? — с интересом рассматривает блани под глазом у собеседника. Мухтар тоже любопытствует.

— Заметно? — устало спрашивает Бузыкин.

— Вполне.

— Упал.

— Вы первый падший мужчина в Санкт-Петербурге.

— Идите нахуй, Василий Игнатьевич.

— Зря столько пьёте. Мне Нина Евлампиевна жаловалась.

— И её туда же.

Бузыкин выжидающие смотрит на соседа. Василий Игнатьевич невозмутимо раскуривает трубку. В этот драматический момент на сгвее лихо подкатывает Хансен.

— Андрей, вы готов?

Бузыкин не отвечает. Василий Игнатьевич приветливо прикладывает руку к берету. Все, включая Мухтара, молчат. Паузу нарушает Хансен:

— Если вы не готов, у меня есть водка, — снимает рюкзак, в нём булькает.

— А, Василий Игнатьевич? — агрессивно интересуется Бузыкин.

Сосед выпускает струю ароматного дыма, печально качает головой:

— Вы же знаете, коллега.

— Раз в году и развязаться можно.

— Развязать себя, это что? — вместо водки Хансен достаёт из рюкзака блокнот с ручкой.

— Это пиздец, — объясняет Бузыкин.

— Нас не представили, — протягивает датчанину ладонь Харитонов. — Василий Игнатьевич.

— Ханс-Христиан, — радушно трясёт руку Хансен.

— Это Билл, — поясняет Бузыкин. — Он из Дании. Его так шутить студенты научили.

— Да, Билл, — соглашается Хансен. — Развязаться — это колдырять?

Идиома?

— Тут многие идиомы, — кивает Бузыкин на невозмутимого соседа.

— Не понимать: мы будем развязаться утром? — Хансен призывно встряхивает булькающим рюкзаком.

— На здоровье, — вежливо отвергает предложение Василий Игнатьевич. — А у меня гастрит и работа.

Из подъезда выходит Нина Евлампиевна, к ней радостно бросается соседский пёсик.

— Уйди, Мухтар, ты мокрый, — супруга Бузыкина отпихивает собаку в сторону мужчин. — Здравствуйте, Билл. Здравствуйте, Василий Игнатьевич. С тобой здороваться или сделаем вид, что мы уже сегодня виделись?

— Здравствуй, Нина, — начинает объясняться Бузыкин. — Понимаешь, кафедра затянулась, а после Варвара попросила помочь ей с Висконти, часы остановились, а потом мосты развели.

— Синяк тебе тоже Варвара поставила?

— Нет, случайно с полки Гоголь упал. Помнишь, там у неё бюст такой стоит? Вот он и упал.

— Гоголь так Гоголь. Шершавникову это расскажи... Всё, опаздываю уже.

Нина Евлампиевна чеканит сапогами шаг по асфальту двора. Бузыкин примиряюще спрашивает у ее прямой спины:

— Нина, чай для нас с Биллом готов?

— Я замок сменила, Андрей, плакал ваш чай, — скрывается за углом дома.

Билл серьёзно записывает в блокнот:

— Плакал чай. Смешно.

Василий Игнатьевич подзывает Мухтара, кивает в сторону подъезда, вздыхает:

— Что ж, придётся вас временно приютить. Пойдёмте, коллеги.

Мужчины заходят в дом. Сегвей Хансена виляет колёсами в унисон с хвостом Мухтара.

На уличной трибуне выступает оратор: «Тут нам говорят, что советская империя рухнула и никогда больше не возродится. Это ложь! Проплаченные агенты влияния двадцать лет измываются над русской идентичностью. Пора

восстановить суверенитет Отечества, пора избавиться от компрадоров в правительстве и поддержать Владимира Владимировича в этой борьбе!» — Долой глобализация! — кричит в толпе митигующих Хансен, потрясая древком с портретом Путина.

Ему вторит Бузыкин и окружающие. Василий Игнатьевич молчит с трубкой во рту.

— Билл, дай я тебя поцелую, — Андрей Павлович обнимает датчанина. — И ты поцелуй вот его.

Бузыкин тычет пальцем на человека, статью и лицом напоминающего Николая Валуева. Пристально глядявается в доброжелательно улыбающегося незнакомца, мотает головой:

— Нет, не его, — обводит пальцем близстоящих митингующих, в итоге палец упирается в Василия Игнатьевича. — О, вот его.

Василий Игнатьевич молча смотрит на палец, потом на Хансена. С трудом выдавливает из себя:

— Билл, а в Дании митинги есть?

Хансен кривит губы:

— В Дании митингов нет.

— А у нас есть.

— У вас лучшая в мире страна, — Хансен обнимает Василия Игнатьевича, к ним присоединяется Бузыкин. — Я остаюсь здесь жить.

— Какой ты молодец! — соглашается Василий Игнатьевич.

Бузыкин пытается протиснуться к трибуне, выкрикивая: «Товарищи!

Профессор из Дании хочет сказать вам всю правду!» Но спины протестантов сплочённые и равнодушные к порыву Андрея Павловича.

Бузыкин возвращается к приятелям, где Хансен настойчиво тычет пальцем в грудь Василию Игнатьевичу.

— Мы должны поставить тебе вай-фай. За мой счёт.

— Не вопрос. И ещё ты будешь мыть посуду, я не люблю.

— Мы должны купить нам посудномойка машина.

— Купим. Андрей, купим?

— Пошли, тут есть за углом.

Приятели выбираются из толпы. Навстречу движется небольшая колонна с гармошкой, поют «Батяню-комбата». Внезапно Василий Игнатьевич преувеличенно твёрдым шагом направляется к ним с явным намерением подпеть. Его догоняет Бузыкин.

— Вася, не нужно с ними, они не умеют петь.

— Я тоже не умею. Но люблю.

— Какой ты человек, когда выпьешь. Какой ты чудесный человек, Вася. Зря столько лет мучил себя трезвостью. Подтверди, Билл. Билл кивает:

— Не нужно мучить. Никого.

Троица идёт по середине пустой за полицейским оцеплением улицы в сторону ближайшего алкогольного магазина. Бузыкин затягивает: «На речке, на речке, на том бережочке мыла Марусенька белые ноги».приятели подпевают ему как могут. С двух противоположных тротуаров за ними молча наблюдают Нина Евлампиевна и Шершавников. Потом встречаются взглядами. После недолгой паузы Виталий поднимает воротник плаща и уходит в противоположную от троицы сторону.

«Я люблю тебя, Россия!» с чувством поёт Галина Ненашева с пластинки, которая крутится на проигрывателе в квартире Василия Игнатьевича. Хозяин за столом курит трубку и смотрит на сидящего напротив Хансена. Тот подпевает Ненашевой. Бузыкин спит на диване. Песня заканчивается.

— Василий, я хипстер? — тоскливо спрашивает Хансен.

— Нет.

— А кто я?

— Ты нормальный, Россию любишь. Не то что, — Василий Игнатьевич делает неопределённый жест руками.

Хансен выливает остатки водки из бутылки в две рюмки, цепляет на вилку кольцо колбасы.

— Я буду выпить за эту страну с тобой по брудершафт.

— В третий раз? Ладно, давай.

Чокаются, долго путаются руками в брудершафтном эквilibре. Раздаётся звонок в дверь. Василий Игнатьевич машет рукой и опрокидывает рюмку без лишних телодвижений. Хансен одобрительно показывает большой палец и тоже выпивает. Закусывают. Звонок настойчиво повторяется.

— Хуй на него? — Хансен вопросительно смотрит на хозяина.

— Зачем? Пойдём посмотрим.

Оба выходят в коридор, стараясь излишне не шуметь, но получается у них плохо. Василий Игнатьевич припадает к дверному глазку, затем поворачивается к Хансену и подносит палец к губам.

— Чеченцы? — громко пугается Хансен.

Василий Иванович вздыхает и начинает обречённо открывать дверной замок. На пороге стоит Нина Евлампиевна.

— Пригласите, пожалуйста, Андрея Павловича.

— Его тут нет, — на голубом глазу отвечает Харитонов.

— Сейчас, — одновременно с этим бросается внутрь квартиры Хансен.

Нина Евлампиевна выразительно смотрит на Василия Игнатьевича. Тот пожимает плечами.

Из комнаты доносится неразборчивый голос датчанина, прерываемый шумным спросонья Бузыкиным: «Я тебя, викинга, вертел... Пиджак где?.. А хуй ей в фантик не завернуть?..». В коридор выходит Хансен, за ним, засовывая рубашку в брюки, появляется Бузыкин.

— Здравствуй, Нина. Ты как меня нашла?

— Пойдём домой, — берёт под руку мужа, прощается в дверях. — Спасибо, Билл. До свидания, Василий Игнатьевич.

Дверь захлопывается, супруги спускаются вниз по лестнице. Нина Евлампиевна останавливается, притягивает за лацканы Бузыкина к себе.

— Леночка с Виктором пришли. У нас всё нормально — для них, нормально. Ты понял? Им не нужно сейчас.

— Нина, ты прости. Можешь верить, можешь нет, но у меня там — всё.

— Да-да. Уже три раза с кафедры звонили и в трубку молчали.

— Ошиблись, наверное. Знаешь, там измена.

— Да? Рога выросли, или как это у вас называется?

— Не в этом дело, всё много хуже. Родине измена, либеральное гнездо оказалось. Это была ошибка, Нина.

— Это ты ошибка. Всей моей жизни. Иди давай, не до тебя сейчас.

Открывает дверь новым ключом, вталкивает Бузыкина домой.

В комнате Виктор смотрит телевизор, здоровается с Бузыкиным, Леночка бросается отцу на шею.

— Папка! Как хорошо, что ты пришёл. Мы спирту принесли и пива... Вить, иди разбавляй, я не умею!

— Подожди, сейчас самое интересное будет. О, слушайте.

Добавляет звук на пульте. В телевизоре резко начинается надрываться Лепс: «Рюмка водки на столе...». Звучат аплодисменты, на экране поклонницы заваливают певца цветами. Виктор поёживается:

— Каждый раз мурашки по коже, когда это вижу.

Лена отбирает у него пульт, выключает телевизор.

— Не слышал, что ли? Иди говорю, бодяжь шило-то, меломан.

— Пиздец ты устроилась, — ухмыляется Виктор. — Скажите, мама?

Нина Евлампиевна невесело улыбается. Лена с Виктором уходят на кухню.

— Она его уговорила, — всхлипывает Нина.

— Как же так? — огорошенно садится на стул Бузыкин. — Он же ни в какую не соглашался.

— Всё, обрезался вчера. Им триста тысяч пообещали.

— Кто?

— Муса Абдуллаевич твой. Муллу привёл, тот сказал, что даст Виктору фетву

— ну, чтобы ему и в исламе пить можно было. Шары залили, денег посулили — ну и отчикали всё что нужно за милую душу.

— Вот тебе и семинарский диплом.

— Он же не служил ни дня. Как выпустился, так сразу с Леной поженились, а что мусульманка, так она ему через полгода только сказала.

— Помню. Мы еще тогда посмеивались, когда Лена Виктору про чадру объясняла: вуаль, говорит, имидж у меня такой... Теперь и внуки у нас, выходит, суннитами вырастут.

Лена выглядывает из кухни.

— Родители, ну где вы там? Витя спирт развёл, я сало порезала. Пойдёмте уже.

На кухне все рассаживаются вокруг накрытого стола. Виктор поднимает рюмку.

— Ну что, надеюсь, все уже в курсе? С новообращённым вас.

Чокаются. Бузыкин печально любопытствует:

— Как же ты с алкоголем теперь? Нельзя ведь.

— Можно. Мулла сказал, что странствующим дервишам можно.

— А с каких пор ты теперь странствующий дервиш?

— Они уезжают, — на глаза у Нины Евлампиевны наворачиваются слезы.

— Куда? — не понимает Бузыкин.

Нина закрывает лицо платком.

— В Стерлитамак, папка, — весело наливает по второй Лена. — Там у них вакансия в медресе открылась, Муса Абдуллаевич быстренько Витю пристроил.

— Как же? — опять не понимает Бузыкин.

— Да нормально все, Андрей Павлович, — не унывает Виктор. — С семинарией за плечами хоть в медресе, хоть в синагоге работать можно. Тема-то одна, подходы чуть разные... Пиво открыть?

— Мне, — дрожащей рукой протягивает кружку Нина Евлампиевна. — Чего уж теперь.

— Не кукуйтесь, родители, — рассадица суннизма в отдельно взятой семье достаёт из сумочки телефон. — Мы сейчас вас запишем, выложим в ютуб, а там смотреть будем. Садитесь рядышком, пойте.

— Зачем? — Бузыкин вообще уже ничего не понимает. — Что петь-то?

— Не знаю, что хотите. Ну, какую-нибудь вашу любимую. Три-четыре...

— Постой, — останавливает жену Виктор. Достаёт из кармана крестик на цепочке, отдаёт Бузыкину. — Вот, пусть у вас будет. Мало ли.

— Все, родители, запевайте, — Лена включает камеру.

Бузыкины растерянно переглядываются. Нина Евлампиевна неуверенно начинает:

— Как же там... «Все таблетки подъедены, марки тоже наклеены... Тарапарам-пампам в холодильнике...»

Подключается Бузыкин, слабо отбивая ритм ладонью по коленке:

— «На дачу смылись родители. Она жуёт свой «Орбит» без сахара. И вспоминает тех, о ком плакала».

И более уверенным дуэтом:

— «Она жуёт свой «Орбит» без сахара, и вспоминает тех, о ком плакала...»

Виктор довольно смеётся, с хлопком открывает бутылку пива ложкой.

Настенные часы показывают 22:35.

Надо же, здесь тоже мусульманская тема, вроде как шутейная, но непростая.

Что-то крутится такое в воздухе — и разговор сегодняшний неприятный на рынке, и Хорт вон странно веселится по такому поводу.

Не к добру. Вроде как и замирили уже Чечню, но больно уж по-хозяйски ведут себя в России кавказцы. А теперь выходит, что и прочие их единоверцы нам и первое, и второе освобождение Крыма припомнить готовы. Как бы не вернулся в страну восточный террор, который страшнее карикатурного Правого сектора будет.

На Донбассе мутно нынче, конечно, но понятно, что при желании мы Украину нагнём в два счёта, она и пикнуть не успеет. Просто не нужно это сегодня никому после двух недавних чеченских кампаний. Так, поиграем там мускулами, успокоим не в меру ретивых нынешних хохлов, покажем американцам, кто хозяин в Восточной Европе, на том и успокоимся. Не воевать же всерьёз нам с Украиной в самом-то деле, как Жириновский предвещает? Старый клоун, что с него взять. Громкий звездобол, как и большинство здешних фейсбучных комментаторов.

Бес Попутал: Чего это у вас Гоголь вдруг с полки падает? Нет ли здесь намёка на падение уровня российской культуры?)))

Валерия Щукина: Есть, есть! И великого певца земли русской Лепса автор принижает!)

Птица Феникс: Совсем этот автор уже. Ничего святого!

Бес Попутал: Разболтались людишки, знамо дело.)

Птица Феникс: Высечь их, как унтер-офицерскую вдову — и дело с концом!

Скотт Скотов: Так не падал Гоголь, это Бузыкин отмазку такую придумал. Он же вынужденно врёт всё время. Но вы продолжайте веселиться, конечно. Злые, бездушные люди.

Птица Феникс: Мы всего лишь указываем на малую вероятность землетрясения в Питере, которое могло бы стать причиной падения бюста Гоголя.) А могли бы и бритвой по глазам.

Скотт Скотов: И глаза у вас добрые-добрые.

Радик Фаршатов: Обрезание — традиционный религиозный обряд. Не пытайтесь шутить на тему, в которой ничего не понимаете. Это оскорбление чувств всех верующих мусульман.

Скотт Скотов: И в мыслях не имел. Вероятно, действительно не очень умная и неуместная шутка. Прошу понять и простить.

Радик Фаршатов: Аллах велик и милосерден.

Скотт Скотов: Благодарю. Со всем уважением за справедливое замечание и благожелательную тональность.

Иван Ёлкин: Зассал, гляжу, писатель Скотов. Нагадил — и в кусты, как все либералы.

Скотт Скотов: Это что ещё за чучело вылезло? Откуда ты нарисовался в моей ленте, добрый человек?

Иван Ёлкин: Мимо проходил.

Скотт Скотов: Так и ступай себе с богом дальше.

Иван Ёлкин: Трудно слово «Бог» с большой буквы написать? Вот так, походя, и оскорбляете святыне чувства всех русских людей. И нерусских тоже. Так что пройти мимо людей, оскорбляющих веру, никак не получается. Мы вас таких всегда давили и давить будем.

Валерия Щукина: Уж мы их давили, давили!))) Вылитый Шариков.

Скотт Скотов: Истинная вера, юноша, неоскорбляема. Такое у меня для вас печальное открытие.

Иван Ёлкин: Серьёзно? А если я напишу, что ты плод любви твоей матери с ослом? Это для тебя не оскорбление? Вот и ты не смей мою веру оскорблять.

Скотт Скотов: Нет, для меня это не оскорбление. Это вы сами себя сейчас оскорбляете, но даже не осознаёте этого.

Иван Ёлкин: Ничего, я сканы все уже сделал. В другом месте будешь за свой гнилой базар отвечать. Жди, когда за тобой придут.

Бес Попутал: Оскорбляемых развелось — плюнуть некуда.

Валерия Щукина: И доносчиков.

Бес Попутал: Так это один и тот же подвид человекообразных.

— Мы дома, — Эля стоит в прихожей, улыбается. — Встречай жену, хозяин.

— И дочь встречай, — уточняет Берточка, бросая под вешалку рюкзак и тубус.

— Мы устали и есть хотим.

Поднимаю Бертку на уровень своего лица, где мы ритуально-приветственно трёмся носами. Дочь убегает в свою комнату, а я принимаю у супруги пакеты со снедью или что там у неё.

И ведь каждый вечер повторяется одна и та же картина: не может Эльвира прийти домой без тяжело гружёных пакетов в качестве обязательного дополнения к тоже себе нелёгкой объёмистой дамской сумке. В них могут лежать три ежедневника, фен, зонт, ведро картошки, полено замороженной сёмги, книга писателя Акунина, ноут и ещё непредсказуемый ассортимент всяких разных вещей. Не удивлюсь, если однажды обнаружу в них бензопилу или карбюратор от «рено логана». Ну почему я всегда возвращаюсь с работы в лучшем случае с блоком сигарет, купленных по дороге в табачном ларьке, а Эля вся в пакетах с покупками? Какая-то специальная особенность всякого женского организма.

— Я в душ, — сообщает уставшая, но прибывшая в хорошем настроении Эльвира. — Разбирай пакеты, накрывай ужин... Берта, ты руки помыла после улицы?

Дочь уже приплясывает в наушниках под неведомую мне музыку, кивает головой, торопится на кухню разведывать как там и что. Пока длится беглая разведка, выкладываю из пакетов два контейнерных салата из супермаркета, упаковку туалетной бумаги, салфетки и пару бутылок красного сухого: ознакомился с этикетками — испанское.

Так-то мне всё равно, я в винах разбираюсь, как Шариков в Мандельштаме, но всегда готов с умным видом разделить Элино суждение о терпкости или, наоборот, мягкости прилагаемого к столу букета импортного алкоголя. Из таких нюансов и складывается мирное семейное существование, не то что у Бузыкина с его Ниной Евлампиевной.

И, конечно, отдельное удовольствие с невозмутимостью скромного победителя подать голодающим домочадцам дымящееся мясо, сдобренное свежепорезанной зеленью, наблюдать под расслабляющее вино, как девушки уплетают его за обе щеки, слушая параллельно рассказ Берточки, про то, как они с Ленкой Бирюковой встретили в коридоре художки большого рыжего кота и пытались кормить его пластиковым яблоком из натюрмортного реквизита, и как потом их накрыла за этим занятием директор школы, отвела обратно в студию, а Ольга Петровна сказала что детям трудно два часа стоять за мольбертами, и она не запрещает ученикам выйти размяться в коридор во время занятия, тем более, что девочки в числе лучших в её классе, и показала директрисе их почти законченные сегодняшние натюрморты, а та их рассмотрела и согласилась, что таким способным девочкам можно иногда играть в коридоре с котом, но лучше без использования реквизита, который животное всё равно есть не будет, а пластиковые яблоки и другие предметы теряются, и что фонды школы не резиновые и что другим ребятам не с чего будет рисовать натюрморты, если все начнут играть к котами в школьных коридорах, вот.

После ужина дочь отпросилась к Лене Бирюковой, потому что у той дома тоже есть кот и появилась новая кукла Барби, которую Бертка ещё не видела. А Эля уселась за компьютер вычитывать присланный ей вечером актуальный репортаж с завершающий сезон премьеры «Шестого театра».

И я вдруг ощутил мирное спокойствие своего дома, когда всем друг от друга хорошо, потому что все друг друга любят, понимают и оберегают от внешних неприятностей. Наверное, так и выглядит простое человеческое счастье после бокала сухого вина и трёх рюмок водки за ужином. И чтобы усугубить это самое состояние, нужно прямо сейчас взять ноутбук, пойти на кухню и налить себе ещё одну рюмку, а потом уже снисходительно посмотреть с вершины своего счастья на суетность мелких людишек, зачем-то бесконечно воюющих между собой в интернетах.

Валерия Щукина: Донос как новая норма жизни.

Скотт Скотов: Совсем не новая, скорее, наоборот.

Валерия Щукина: Да, согласна.

Бес Попутал: Довлатов про миллионы доносов, помните?

Юрий Пронькин: Говно этот ваш Довлатов.

Валерия Щукина: Вы сами-то чем знамениты, чтобы через губу отзываться о Довлатове?

Юрий Пронькин: Ad hominem, значит? Как всё это предсказуемо. Ну, погуглите, если интересно. Я, в отличие от многих здесьних обитателей, не скрываюсь за вымышленными никнеймами.

Скотт Скотов: А тема доносов сама по себе любопытна. Отчего в Германии считается нормой позвонить в полицию, если сосед сжигает у себя во дворе

спиленные ветки садовых деревьев, а в России тебя за такой звонок обольют общественным презрением?

Бес Попутал: А вы хотите, чтобы у нас было, как в Германии?

Скотт Скотов: Я ничего не хочу, я интересуюсь, почему столь разные модели поведения.

Бес Попутал: Нет, я вижу, что вам близка протестантская мораль, и вы оправдываете доносы баварских бюргеров.

Скотт Скотов: Ткните мне пальцем, где я оправдываю.

Бес Попутал: Потому что в Германии нет советского лагерного опыта, где сотрудничество с вохрой всегда приводило к тому, что стукач получал определённые блага за счёт остальных эзков. И на зоне справедливо сформировалось презрительная позиция в отношении подобных персонажей. Оттуда понятийная мораль распространилась по всей стране. У нас жить по понятиям проще и лучше, чем жить по закону. Потому в жопу вашу протестантскую мораль с её законным доносительством.

Скотт Скотов: В Германии нет лагерного опыта? Вы хорошо подумали? У евреев не спрашивали?

Бес Попутал: Это другое.

Валя Рыжий: Давно с кичи, Бес? Какой масти будешь?

Бес Попутал: Не ваше дело, уважаемый.

Валя Рыжий: Я, баклан, сам буду решать, где моё дело, а где твоё. Ты тут сейчас много пустого прогнал, так мне интересно: за слова готов отвечать? По понятиям, как ты любишь.

Бес Попутал: Скучно. Из дискуссии вышел, откланялся.

Валя Рыжий: Ответ не держит, фуфлыжник. Ты бы, Скотт, поаккуратнее с такой экзальтированной публикой: чем больше человек баклажской гремит, тем вероятнее, что он провокатор. Просто поверь. Будь здоров, сценарий весёлый, мне понравился.

Валерия Щукина: Нашла. «Юрий Пронькин, омский литератор и краевед.

Автор книг «Очерки истории Омского Прииртышья», «Роберт

Рождественский в Омске: годы эвакуации», «Транссиб — мост между прошлым и будущим». Лауреат премии «Омский просветитель» за 1993 год».

Вы, Пронькин, точно считаете, что в соответствии с вашим списком регалий можете уничижительно отзываться о Довлатове?

Юрий Пронькин: А вы можете мне это запретить?

Налью, пожалуй, себе ещё рюмашку, как говорила Варвара-Волчек в «Осеннем марафоне». На трезвую голову весь этот бред читать невозможно. И как людям не надоест изо дня в день жевать пережёванное? Дураки какие-то.

Один толковый клиент — Валя этот Рыжий. Этому сразу веришь.

Когда нынешний весной залёг в кардиологию гипертензию поправить, заселили меня в двухместную коммерческую палату. И лежал там крепкий мужик, Олег Семёнович: чернявый такой, седеющий, с носом на сторону сдвинутым.

Гипертрофическую кардиомиопатию лечил, редкую болезнь.

Познакомились, про свои болячки, понятно, обстоятельно поговорили.

Покурить вышли вместе, выяснили что пара общих знакомых имеется.

Обычный трёп двух серьёзных пациентов серьёзного учреждения.

Про футбол, помнится, разговор зашёл: он за «Спартак» с детства болеет, я сообщил, что «динамовец» со стажем. Тут Олег Семёнович вдруг бросил на меня косой острый взгляд и сменил тему, рассказал, что в юности спортивной

гимнастикой занимался, даже норму мастера спорта выполнил, но потом то ли травма у него серьёзная приключилась, то ли другие какие жизненные обстоятельства, но спортивную карьеру пришлось завершить.

А с вопроса о роде сегодняшних занятий как-то съехал, переключившись на рыбалку с охотой, и приглашая как-нибудь заехать с ним на его недавно срубленную базу в северолесской тайге. Гарантировал хоть сохатого загоном с собаками, хоть медведя на берлоге. А выяснив, что мы с Сорокой по зверю как-то не очень, а больше по пернатым, хохотнул коротко, сообщив, что забава понятная, но ленивая: у него стоит от избы метров на триста отойти — и глухарь, считай, у тебя в кармане.

Визитку из бумажника вынул, чтобы звонить ему в любое время, если вдруг соберёмся на гарантированную боровую дичь. Простая белая визитка, без затей: «Копейкин Олег Семёнович. Гимнаст. Телефон такой-то». Зачем обозначать на визитке свою прошлую причастность к спорту, непонятно, но у каждого свои причуды, имеет полное право.

Говорил Олег Семёнович негромко, но веско и с некоторой лёгкой странностью, как будто применяя обычные слова в непривычной форме изложения: «у меня с ними ровно», «он не звенит, а всегда по делу» — в таком, в общем, роде. И как-то серьёзно у него это выходило, весомо, хоть и слегка непривычно.

А ещё Олег Семёнович несколько раз на дню спускался к подъезжающему к больничному входу большому чёрному джипу, садился в него решать какие-то свои рабочие вопросы. Что ж, и в наш век мобильной связи требуется принимать решение в прямом личном контакте, у нас тоже в министерстве такое регулярно практикуется — пусть ты хоть сто раз на телефоне, а на совещание будь любезен явиться пред начальственные очи собственной персоной. Бывает.

И как-то раз после такого визита посетителей на джипе вернулся Олег Семёнович с пакетом, достал из него бутылку дорогущего вискаря и полноценную закуску к нему.

— Выписываюсь, — говорит, — Петя. Срочная необходимость возникла.

Понравился ты мне, давай закрепим знакомство по-человечески.

— Как же? — не понимаю. — А выписной эпикриз получить? А нарушение режима?

— Не суетись: с заведованием только что попрощался по-людски. Режим для нас на два часа выключен. Давай за здоровье.

Ну и дали. Разъяснил мне Олег Семёнович за свою работу. Работа обыкновенная — правая рука главного бандита города, положенца Михея.

Познакомился он с ним на киче во время последней ходки десять лет назад, так в этом бизнесе и прописался.

Зона ответственности Гимнаста — решение вопросов, любых. За решением может обратиться хоть директор оборонного завода, хоть бабушка с шестью дачными сотками за душой. Фирма никому не отказывает, не бездушная бюрократия, чай. Одному откажешь — другой у государства решение будет искать. Безуспешно, но зачем самим создавать себе дурную славу? Глупо и нерационально.

Каждый вопрос имеет свой денежный эквивалент, который обсуждается в процессе проработки. В финале клиент отдаёт двадцать процентов от решаемой суммы. Вот и вся нехитрая бизнес-схема. А главное, крайне эффективная, иначе зачем бы человеку искать решение у неофициальных структур, если есть

официальные, которые на свою зарплату налоги с народа собирают? Но ведь не делают же ни хрена, приходится кому-то другому людям помогать.

«В общем, Петя, бутыль заканчивается, — завершил разговор Гимнаст. — Давай по крайней и обращайся, если нужда будет. Твой вопрос по знакомству будем решать из десяти процентов. Только не афишируй направо и налево наше знакомство, не звени громко, не нужно этого. Всё, будь здоров».

Олег Семёнович тиснул мою ладонь жёсткой лапой размером с кирпич, застегнул рубаху, спрятав под ней внушительный нательный крест на золотой цепи, на которой можно было держать кота в Лукоморье, и отбыл на амбулаторное лечение. Больше я Гимнаста не видел, только однажды позвонил по просьбе Сороки, которому потребовалось решить какой-то бизнес-вопрос, используя методы нетрадиционной бюрократии. Чем там у них дело кончилось, я у Витька не спрашивал, а он сам к разговору не возвращался.

Так вот, пара комментариев к Хортовской графомании от неведомого мне «Вали Рыжего» сразу напомнила манеру изложения Олега Семёновича, тут стилистику сложно спутать. Серьёзный человек серьёзно высказался, не то что фейсбучные визгливые зубоскалы. За буквами в соцсетях спрятаться невозможно, они лучше любого полиграфа высвечивают суть человеческую. Так что полезная эта штука — интернет, обязательно пригодится в обозримом будущем, обязательно.

Глава 5. Сигнал

Берта вернулась домой поздно, в половине одиннадцатого, лишь после звонка Эли родителям Лены Бирюковой. Сделала смешное покаянное лицо, в сотый раз пообещала, что не станет отключать свой мобильник, терпеливо выслушала холодную мамину нервность и беззаботно ушмыгнула в свою комнату, пожелав родителям спокойной ночи.

— Ты бы, родитель, хоть раз свой гневный голос возвысил, — не до конца растраченное раздражение супруги ожидаемо выплеснулось на мою голову. — А то одна мама у нас в семье злодейская ведьма, а папочка всегда добрый и хороший.

— Метод злого и доброго следователя пока никто не отменял, — улыбаясь, пытаюсь свести к минимуму последствия Бертиного проступка. — Ничего же страшного не случилось, Эля. Это дети, они всегда так себя ведут. Радуйся, что пока она ещё нас слушает с повинной головой. Через пару лет дерзить начнёт, скандалить. Наслаждайся последними месяцами тихого предпубертатного возраста.

— Некоторые до старости лет остаются безвольными инфантилами, — не успокаивается Эльвира. — Глядя на тебя, и Бертка такая растёт: ни послушания, ни ответственности за свои поступки.

— Это когда я тебя не слушал? — смеюсь, притягиваю Элину голову к себе. — Ну, например?

— «Например-напримёр», не вспомню сейчас, — уже успокаивается Эльвира.

— Вечно мне нервы мотаете, каждый на свой манер... Водку, гляжу, пьёшь здесь под фейсбук, расслабляешься. Налей и мне рюмку, что ли.

— Да не то чтобы расслабляюсь, — чокаемся с Элей, закусываем дачным помидором на двоих. — Хорта вот читаю весь день. Ты, кстати, ссылку на его пародию посмотрела? Что скажешь?

— Виталя талантлив, ему бы самому в творцы, да в покровительстве искусств жить удобнее. Ну и рисуется инкогнито перед публикой, свободомыслие эксплуатирует. Пусть резвится, пока можно ещё.

— Ну, знаешь, всяким вольностям должен быть свой край. На Данелию-то чего он взъелся? Зачем опошлять то небольшое хорошее, что осталось в памяти народной из советского прошлого? А комментарии к его пародии какие снобистские, разнузданные? Ты их читала?

— Я не читаю всякую сетевую шваль, не получаю от этого извращения особенного удовольствия, как некоторые. А Данелию он от большого почтения к нему спародировал, так бывает. Впрочем, спрошу при случае о мотивах... Всё, я спать. Сам тут дальше развлекайся.

Идём вместе с Эльвирой пожалуйть Берте спокойной ночи, но та уже и без родительского напутствия спит в обнимку со старинным плюшевым слоном Гошей. Эля отправляется в спальню, а я вновь открывают ноутбук в ожидании развязки новейшей истории нелепого переводчика Бузыкина в изложении Виталика Хорта, таланта милостию божьей, прости меня, господи.

Шершавников стоит у газетного ларька на остановке, делает вид, что читает журнал. Рядом несколько таджиков лопочут по-басурмански. Один из них неожиданно обращается к Виталию.

— Извините, пожалуйста, вы не знаете, как доехать до Невского?

Шершавников объясняет. Таджики опять что-то обсуждают. Вновь отправляют к нему прежнего русскоговорящего:

— Извините, пожалуйста, там видеть его можно?

— Кого?

— Невского.

— Это улица, проспект.

Иностранцы бурно обсуждают информацию, снова делегируют парламентария к вежливому аборигену.

— Извините, пожалуйста, туда всех пускают?

— Всех. Кого там только нет.

— Ай, спасибо. Я им говорю, что Лавра Невского всякий увидит — таджик не таджик. Большой человек был, богатур. Не верили, пся крев. Дай вам Аллах хороших жён и мудрого начальника.

Шершавников в некотором ступоре смотрит, как таджики садятся в маршрутку.

Из-за угла появляется спешащий в контору Бузыкин. Шершавников закрывает лицо раскрытым журналом, смотрит вслед уходящему возлюбленному. Затем догоняет его, ожидающего на пешеходном переходе разрешающего сигнала светофора.

— Здравствуй, Андрей, — на лице Шершавникова отражается сумбур радости, страха и гордости.

— Привет, Виталий, — Бузыкин, кажется, искренне рад встрече.

В толпе горожан они торопливо пересекают проезжую часть. Бузыкин интересуется:

— Как жизнь движется?

— Ты мне совсем не звонишь.

— Замотался совсем. Завтра Леночка с Игорем уезжают на два года в Стерлитамак, Варвара в запое, на работе завал... В общем, просто времени нет, извини, пожалуйста. Но я про тебя всё время помню.

— Ты не сердись за тогда? Ну, когда, — заминается Шершавников.

— Ты про дядю Колю? Нет, и не думал даже. Старый человек, что с него взять.

— Точно-точно?

— Я же сказал.

— Подожди.

Бузыкин останавливается, смотрит на часы.

— Виталик, прости, у меня времени совсем нет.

— Две минуты, — Шершавников достаёт из кармана ключи, протягивает их Бузыкину. — Вот, дядя Коля вернул. Я на него в полицию позвонил на следующий день. Он и отдал.

— Не нужно было, зачем ты?

Шершавников засовывает ключи в карман Бузыкину.

— Затем. Ты же придёшь?

— Приду. Завтра — проводим ребят и приду. А хочешь, сам ко мне приходи.

Шершавников удивлённо смотрит на Бузыкина, тот поясняет:

— Серьёзно. Мы с Ниной расходимся. Она уезжает к маме в отпуск. А потом — совсем.

— Ой, Андрей.

— Всё, опаздываю. До завтра!

Убегает. Шершавников, пунцовый от счастья, идёт в другую сторону.

Спускается в переход, там уличные музыканты поют *Heu Jude*. Виталий встаёт рядом, громко и неумело подпевает.

Хансен и Василий Игнатьевич идут с футбола, на обоих клубные «розы».

Настроение после победы «Зенита» приподнятое. Василий Игнатьевич периодически орет: «Зенит» — чемпион!». Окружающие фанаты откликаются одобрительно.

Хансен интересуется:

— Зачем бить мясо? Отбивные?

— Отбивные, Билл, красные отбивные с кровью сегодня будут, — Василий весело-агрессивно бьёт кулаком в ладонь. — Мишаня разрешил.

Кивает на проезжающий открытый кабриолет, в котором Михаил Боярский приветствует питерских болельщиков характерным жестом Д'Артаньяна.

— Я люблю медузм-стейк, розовый, — морщится Хансен.

— Педрилка ты спартаковская, — ласково журит его Харитонов. — Тина Бузыкина. Он тоже сволочь мясная.

— Он не мясная, а худая, — и через задумчивую паузу. — Нина мясная, да.

— Ты тоже, что ли, её пыжишь? — удивляется Василий Игнатьевич. —

Смотри-ка, сорока какая: этому дала, этому дала, а тому, голубому, ни разу не дала.

— Я ничего не понимать, Вася, — сокрушается Билл. — Что такое «пыжишь»?

— Пыжить — это, — Василий Игнатьевич, наклоняется к уху датчанина, что-то поясняет.

— О, нет, я не пыжить, — отрицательно качает головой Хансен. — А ты Нина пыжить. Какая у вас, все-таки, сложная, но интересная жизнь. Русская душа. За душевной беседой приятели подходят к дому Бузыкина и Василия Игнатьевича. Андрей Павлович сидит на скамейке у подъезда. Радостно встречает знакомых.

— Здравствуйте. У меня Нина уехала, можно отметить.

— Есть чем? — заинтересованно спрашивает сосед.

— Коньяк. Литр.

Лицо Василия Игнатьевича озаряют восхищение и предвкушение. Он торопливо берётся за ручку двери. Но тут возникает вопрос у Хансена:

— Андрей, вы зачем подрилка?

Василий Игнатьевич потерянно вздыхает. Бузыкин злобно обращается к нему:

— Хуй тебе, Василий Игнатьевич, теперь, а не выпивка... А вам стыдно, Билл. Европейский, кажется, человек.

Харитонов оправдывается:

— Это я не в том смысле ему. Это я про то, что ты за «Спартак» болеешь.

— Да похуй мне, — огрызается Андрей Павлович. — Соси сегодня за «Зенит». Лапу. Пойдёмте, Билл.

— Пойдём, — кивает Хансен. — Нины нет, пыжить не будем. Будем выпить.

— Сволочь ты всё же, Василий Игнатьевич, — каменеет лицо Бузыкина. — Давно хотел тебе сказать, случая не было. Руки мне большие не протягивай, плюну в нее. Всем растрезвонил.

— Зачем тебе, пидору, баба-то? — добродушно интересуется сосед. — Я же вижу, как ты профессора окучиваешь.

На удивление быстро смекнувший суть Хансен опасливо отходит от Андрея Павловича:

— Я вспомнить. Мне сегодня нужно переводить Татьяна Толстая.

— Через дорогу? — зло глумится Бузыкин. — Что ж вы за люди-то такие! Я докажу, я всем докажу!

Быстро идёт в подъезд. По дороге со всей силы пинает лежащую на асфальте картонную коробку. Из коробки вылетает торт и летит в лицо открывшей изнутри парадное Варваре.

Раннее утро. На супружеском ложе Бузыкиных, разметавшись, спит Варвара. Бузыкин на цыпочках выходит на кухню, садится за стол со следами вчерашней пьянки, набирает номер на мобильнике:

— Здравствуй, Виталик. Нет, ничего не случилось... Конечно, приходи, только попозже — мне с кафедры позвонили, нужно быть. Но в двенадцать ждущу тебя... Обязательно, слышишь, обязательно. Ничего не бойся... Ну, захвати — у меня лишней зубной щетки нет. Всё, целую.

— Шершавников твой? — неслышно подошедшая Варвара стоит в дверном проёме. — Ты бы как-то уже определился, Андрей. Вчера клялся во внезапно наступившем натурализме, сегодня опять в гея решил обратиться.

— Ничего я не решил, — сжимает голову руками Бузыкин. — Зачем мы вчера столько выпили?

— Не знаю. Ты себя стимулировал, похоже. Сожительствовать приглашал с сегодняшнего дня. Говорил, что всем докажешь. Под венец звал.

Андрей Павлович, закрыв глаза, еле слышно стонет.

— Я в ванную, — Варвара снимает халат, бросает его на стул. — Спинку потрёшь?

Бузыкин тупо смотрит в удаляющуюся голую спину. Варвара включает воду и сообщает, перекрывая повышенной модуляцией шум из крана:

— Я Скофилда начала. Тебе Веригин ещё не говорил?

Андрей Павлович в бешенстве бросается в её сторону, но замирает, услышав звук ключа в замке входной двери. Быстро закрывает дверь в ванную, выскакивает в коридор, пытаясь заслонить собой пространство перед входящей Ниной Евлампиевной. Та пытливо смотрит ему в глаза:

— Андрей, у тебя там правда — всё?

Из ванной доносится голос Варвары:

— Бузыкин, ты не переживай. Всё у нас в постели ещё получится. Это тебе не Скофилда переводить.

В незапертую входную дверь протискивается Хансен.

— Здравствуйте, Нина. Андрей, вы готов?

Замечает, что семейная обстановка близка к катастрофе, извиняется перед Ниной:

— Я не знал, что Василий вас пыжит. Честная правда. И Андрею не говорить. Паузу нарушает телефонный звонок. Из трубки мобильного доносится голос Шершавникова.

— Андрей, я решил, что нам нужна кошка. Давай заведём кошку? Ты слышишь меня?

— Слышу, слышу... Записываю: сегодня кафедра в семнадцать. Спасибо.

Над утренним Санкт-Петербургом моросит дождь. У подъезда курит трубку Василий Игнатьевич, рядом мёрзнет Мухтар. Издалека по пустынной улице в их сторону движутся две фигуры на сегвеях. Приблизившись, мимо проезжают весело переговаривающиеся молодые девушка и юноша в шлемах.

Подходит Шершавников, садится рядом. Мухтар зевает.

КОНЕЦ

И всё? Ни либеральной революции тебе, ни горящего Кремля, ни какой-нибудь завалящей войны с Латвией? Ты хорошо начал, солдат, — скверно кончил. Не того от тебя, Хорт, ждали здешние диванные карбонарии, порвут они тебя сейчас на мелкие кусочки, за то что не оправдал их ожиданий, поглумятся над впустую растраченном талантом.

И откуда Эля талант в тебе нашла? Обычный сетевой говнотекст с претензией... Даже меня ты, Виталя, разочаровал. Так разочаровал, что махну-ка я ещё стопарь водки на сон грядущий...

Или прямо вот взять и написать сейчас комментарий? Так, мол, и так, дорогие товарищи, если вы не видите, что это нудный и пошлейший текст, то сами вы мудачьё, ничего в литературе не понимающее. Нет ничего страшнее измывательства над собственной светлой историей, под каким соусом ты эту конфетку не заворачивай. Нет у вас ничего святого в прошлом — значит, ничего хорошего не ждите в будущем. Карма, она вот так устроена, она даст всем вам ещё по башке. Устроились тут, понимаешь, паразиты на культуре собственного народа. А народ мудрее всех вас интеллектуалов-зубоскалов, он не потерпит! И я не потерплю!..

Хорошо, господь отвёл проявить себя гневной отповедью проклятым русофобам. Первые комментарии появились под завершающим текстом, оттянули от пучины падения в фейсбучную ирреальность. Потому что нельзя нарушать ещё одну народную мудрость: не ходи в интернет пьяным, греха потом не оберёшься. А если только читать чужие камменты, никак не проявляя себя в сети, то и сам целее ментально останешься, и пользу какую-никакую из этого наблюдения в итоге вынесешь.

Антон Подгородецкий: Ждал финальной части, боялся спугнуть удачу. Не разочаровал, Скотт, — отличная смешная пародия. Благодарность тебе с занесением.

Скотт Скотов: Спасибо, приятно.

Антон Подгородецкий: Вам бы книжки пора уже серьёзные писать. Большой

талант у вас, не растрачивайте его попусту.

Скотт Скотов: (краснеет, встаёт, неловко раскланивается, садится)

Птица Феникс: И я, и я поддерживаю! Писать книгу, товарищи, непременно писать! Так победим!

Валерия Иллеш: Низкопробная скабрёзная графомания. Пронизанная матом от первой строки до последней.

Скотт Скотов: (участливо) Стоило ли так себя мучить, от первой строки до последней эту графоманию читаючи?

Валерия Иллеш: Из чисто антропологического интереса.

Скотт Скотов: А.

Не удержался, отправил этой Виктории Иллеш запрос на дружбу. На Хортовскую нецензурщину мне плевать, глаз не режет, а вот «низкопробная серьёзная графомания» — это в точку, это от души. Эле завтра покажу, пусть убедится, что не один я никакого таланта у Витали не вижу.

Запрос Викторией моментально принят.

Алик Строгий: Русскую душу зачем-то приплёл? Если кто-то кого-то пыжит, при чём здесь русская душа? Дебил-подпидосник.

Скотт Скотов: Так нет никакой отдельной русской души — это расхожий западный штамп, который тиражирует Хансен.

Птица Феникс: Наберут в фейсбук мудаков с русской душой.

Алик Строгий: Достоевского хоть почитайте, что ли. Нет у них, видите ли, русской души.

Птица Феникс: В жопу ступай, баран винторогий.

Скотт Скотов: Не стоит за меня заступаться, Птица, я сам в состоянии.

Птица Феникс: А чо он.

Алик Строгий: То-то пердаки у вас рвутся от упоминания русской души.

Мелочь, а приятно.

Достаю из холодильника водку, рюмку из настенного шкафа, ставлю на кухонный стол рядом с ноутом. Цепляю вилкой из казана кусок мяса, и благополучно роняю его на край тарелки, которая подлетает вверх в жонглёрском пируэте и шмякается об пол. Подметая осколки, натываюсь на голые Элины ноги в тапочках.

— Буйствуешь? — интересуется, зевая, супруга.

— Извини, я нечаянно.

— Надо же, — улыбается Эльвира. — А я думала, что ты в гневе от Хортовского пасквиля намеренно посуду бьёшь.

— Без гнева и пристрастия, — смиренно склоняю голову. — Но не только я считаю этот либеральный высер тупой графоманией. Вот, почитай, что умные люди твоему Хорту пишут.

— Очки дай, — Эля цепляет на нос мои очки, садится перед монитором. — Где тут?

— Вот, здесь и здесь. Водку будешь?

Так с рюмками в руках нас и застукивает Бертка:

— Родители, вы у меня алкоголики?

— Да, — сразу соглашаюсь я.

— Нет, — одновременно отрицает очевидное Эля. — Мы просто решаем сложный литературный вопрос. Разбудили тебя?

— Нет, я в туалет проснулась. Я думала, что литература — обычная школьная скукотень, а вы тут водку ночью под неё пьёте. Вырасту, тоже стану

литературой увлекаться.

— Для этого нужно уже сейчас книжки читать, а не в инстаграме торчать, — включаю режим отца-воспитателя.

— Тогда и водку нужно уже сейчас начинать пить, а то потом не пойму в литературе ничего.

— Ты знаешь, ты это... — приступаю к праведному отцовскому внушению.

— Она знает, — прерывает ночной воспитательный процесс Эльвира. — Пошли спать, дочь. Десять минут у тебя в постели потупим в телефон — и баиньки.

— А этого алкоголика одного здесь оставим?

— Он инсту не любит, зачем он нам нужен?

— Так-то да, но мне его жалко, — Бертка лукаво морщит нос, трёт одну босую ногу о другую.

Я широко раскрываю руки, предлагая мир и всепрощение. Дочь обнимает меня, трётся кончиком носа о мой обонятельный аппарат:

— Спокойной ночи.

— Я скоро, — уведомляю Элину спину, уходящую в обнимку с Бертой в сторону спальни.

— Ты в отпуске, — отвечает Эльвира. — Делай что хочешь.

Дочь, не оборачиваясь, поднимает вверх руку, прощально сжимает и разжимает ладонь.

Люблю их.

Ольга Александровна: А как правильно: «подъезд» или «парадное»?)

Виктория Иллеш: Допускаются оба обозначения.

Ольга Александровна: Где допускаются — в Москве или в Питере?

Виктория Иллеш: В литературной речи.

Ольга Александровна: Вы вообще не понимаете вопроса.

Виктория Иллеш: Где уж мне.

Скотт Скотов: Конечно, в Петербурге следует говорить «парадное». Но Бузыкин идёт в подъезд, пинает коробку, из которой вылетает торт, летящей в лицо выходящей из парадного Варваре. Два раза «парадное» — тавтология, просто не придумал как его назвать другим, немосковским словом. Не судите строго.)

Ольга Александровна: Я не сужу, я тоже не знаю.

Бес Попутал: Просто же всё: если Бузыкин болеет за «Спартак», у него «подъезд», а Харитонов болеет за «Зенит», следовательно, у него «парадное».

Валя Рыжий: Я вопрос тут тебе задавал, Бес. Отвечать за свои слова готов?

Птица Феникс: А как у вас Бузыкин с женой поют на камеру любимую песню из «Сплина»!) Ужасно смешно.

Скотт Скотов: Они должны любить «Сплинов», питерская же группа.)

Виктория Иллеш: Три раза перечитала цитату из песни, которую они поют: «все таблетки подъедены, марки тоже наклеены». Ничего не поняла: это песня больных филателистов?

Скотт Скотов:)

Ольга Александровна:)))

Птица Феникс:))) Тонко, Виктория, браво!)))

Виктория Иллеш: Ничего тонкого здесь не вижу.

Олег В.: Просто вы, Виктория, нормальный человек в отличие от. Люди радуются рекламе наркотиков в творчестве популярной у молодёжи группы. Как их назвать? Обычные ублюдки.

Птица Феникс: Утипутички. Духовные скрепы вам не жмут, уважаемый?

Олег В.: Нормальность жать не может, неуважаемая. Жмёт ваша с автором вызывающая бездуховность.

Виктория Иллеш: А, так это про наркотики? Похоже, автор и сам наркоман. Отписалась.

Олег В.: Наркоман — это вряд ли. Боюсь, дело обстоит значительно хуже. Весь этот пасквиль на фильм Даниили направлен на принижение высокого. На унижение, если хотите, обычных людей, таких как мы с вами, ещё помнящих о существовании любви мужчины и женщины, о настоящем, не порнографическом творчестве, об уважении веры, о добрососедском отношении людей разных конфессий, о любви к отеческим гробам, если хотите. Это собирательный портрет героя нашего времени: недораста, алкоголика, тупого патриота, интеллигента в самом худшем изводе этого ложного определения. Карикатура на реальность. И очень-очень небезобидная, судя по количеству восторженных комментариев. Завтра их будет ещё больше, убогий текст начнёт гулять по сети, исподволь разлагая души русских людей, низводя их до состояния сегодняшних украинцев, окончательно потерявших связь с корнями нашей общей истории и культуры. Не удивлюсь, если автор пишет нам сюда из Киева, если вообще не из Лондона.

Ольга Александровна: Уж чистишь, чистишь свою ленту, но никак не избежишь явления очередного профессионального патриота.

Олег В.: Сочувствую вам.

Птица Феникс: Журная какая троллятина здесь нарисовалась. Двадцать рублей за пост или какой там у вас нынче тариф?

Олег В. И вам сочувствую.

Ольга Александровна: Нет, я бота издали узнаю по походке, он носит брюки, брюки галифе. Этот по зову сердца. Исправитель наших заблудших душ.

Маньяк русской идентичности.

Олег В.: Как будто это что-то плохое.

Птица Феникс: Да бросьте, обычный пиздобол на зарплате. Вы всерьёз верите, что в природе реально существуют такие махровые убеждённые патриотики, верящие в величие России и её могучее вставание с колен?

Ольга Александровна: А кто всей душою одобряет возвращение Крыма в родную гавань? Кто все эти пресловутые 86 процентов?

Олег В.: Правильная постановка вопроса.

Птица Феникс: Обычное тупое серое мудачёё. Им завтра телевизор скажет, что Крым бразильский, они вмиг в это поверят и ламбаду начнут танцевать.

Ольга Александровна: Да нет, здесь проблема глубже. Здесь большая гуманитарная катастрофа в головах. Скажите, Олег, если завтра случится такая фантастическая вещь, что Путин прикажет армии захватить всю Украину, просто допустим невероятный сценарий развития событий, вы поддержите войну между братскими народами?

Олег В.: Станный вопрос. Чем скорее это случится, тем лучше.

Ольга Александровна: И вы сами пойдёте убивать украинцев: взрослых, детей, женщин и стариков?

Олег В.: Обязательно, даже не сомневайтесь.

Птица Феникс: Да он гонит. Кыш, тролль, кыш!

Ольга Александровна: Не гонит. Это такой сейчас популярный вывих новой русской морали. Любуйтесь.

Птица Феникс: Да пошёл бы он нахуй, любоваться им.

Олег В.: Плющит вас, гляжу. Это очень хорошо.

Скотт Скотов: Если что и погубит в конечном итоге Россию, так это звериная серьёзность. Шутка вправо, смех влево — попытка к бегству, конвой стреляет без предупреждения.

Птица Феникс: Это да.

Олег В.: Насмешничать можно с болью за Отечество, как Гоголь. Но это не ваш случай.

Ольга Александровна: Мы за смех! Но нам нужны подобрее Щедрины. И такие Гоголи, чтобы нас не трогали. (с)

Птица Феникс: Браво, Ольга! Красиво сказано.

Ольга Александровна: Это не я, это поэт Юрий Благов написал ещё в 50-х в ответ на сталинский призыв к литераторам «нам нужны свои Салтыковы-Щедрины, свои Гоголи».

Птица Феникс: Ну вот, вернулись сталинские времена.

Олег В.: Не вполне. Но вернуться в полной мере, даже не сомневайтесь.

Слишком много воли тилигенты взяли, давно вас укоротить пора, как врагов народа.

Птица Феникс: Нахуй ступай, урод.

Скотт Скотов: Я верю в свой народ. Верю, что нынешние тёмные времена не вечны, что призрак цензуры будет окончательно упразднён, что Россия вернётся на европейский путь развития, вернуться все свободы, завоёванные нами в «лихих» 90-х. Исчезнут как чёрный морок сегодняшние душные бюрократы, глумливо скалящиеся над «тилигенцией», а нынешние ходящие гоголем (извините за каламбур) охранители, такие как этот Олег В., пойдут подметать улицы. Потому что Конституцию РФ никто не отменял, там ничего нет про русскую духовность, суверенный патриотизм и государственную мораль. Построим Прекрасную Россию Будущего, извините за неумеренный пафос. В конце концов, выйдет президентский срок старику Кабаеву, а больше такого вывиха Россия, уверен, не допустит.

Олег В.: Как много либерастических красотей, я аж прослезился. Но есть к вам простой конкретный вопрос, на котором сегодня ломается вся тилигенция: чей Крым? Прошу.

Ольга Александровна: Украинский, временно оккупированный Россией. А есть другие варианты?

Птица Феникс: Нет других вариантов и быть не может.

Скотт Скотов.: Непростой вопрос. Юридически Крым был и остаётся украинской территорией. Фактически, хотим мы того или не хотим, но население полуострова однозначно высказалось за вхождение в состав России. Безусловно, результаты референдума никогда не будут признаны международным сообществом, потому что не проводятся референдумы за две недели, без возможности метрополии озвучить населению свои аргументы против сепаратизма. Но факт остаётся фактом.

Олег В.: Не вилай нижним бюстом, Скот. Крым российский, да или нет?

Скотт Скотов: Нет, крым украинский, но проблема его возвращения под контроль Киева представляется мне сложной и имеющей решение в отдалённой исторической перспективе.

Олег В.: Как с вами, тилигентами, сложно. В крайний раз: Крым украинский?

Скотт Скотов: Да.

Олег В. Вот и всё, а ты боялся — даже галстук не помялся.

Как меня там Хорт обозвал, «душным бюрократом-охранителем»? Так, скопировать ссылочку... Не получается с первого раза. Значит, нужно поправить точность пальцев ещё одной рюмкой... Это что же, я один за вечер бутылку «Немироффа» съел? А потому что я русский человек, не какой-нибудь... Без двадцати двенадцать, божечки. Засиделся я в этом интернете. Всё, спать... Какой спать? А ссылку отправить?.. Так, копируем адресную строку хортовской пародии, теперь вставляем её вот сюда. И на «отправить» — тырц! Поехал Виталин текст по назначению, ту-ту!

Теперь пояснить нужно, чтобы мимо внимания адресата сообщение в спам не улетело. Только покороче, потому что сил уже никаких душевных нет. Да и физических тоже.

Значит, так: «Андрей Яковлевич, привет! Отправил тебе текст Виталия Хорта, он заведомо в минкульте служит. В фейсбуке пишет под псевдонимом Скотт Скотов. Это он, не сомневайся, можешь фотографии с его страницы сличить с личным делом. Почитай, полюбопытствуй. Кажется, аккуратно по твоему ведомству материал, а как ты им распорядишься — дело ваше. Если с умом, новую звёздочку на погоны привинтишь, верно тебе говорю. В общем, должен будешь. Будь здоров, до связи».

Вот и всё, вот и заверте... Так, стоп, пояснить же нужно: «Вдогон: это заключительная часть Хортовского творения. Нужно пролистать его страницу ниже: там начало и последующие продолжения сценария — чтобы на понимание. И на комменты внимание обрати, на комменты. Всё, я спать. Подробности письмом».

Добрался кое-как до спальни, тихонько заполз под одеяло, не потревожив Элю. И закрыв глаза, понял, что всё правильно сделал: пусть теперь майор Лушкин Андрей Яковлевич из департамента внутренней безопасности с Виталиными экзерсисами разбирается. А то чего я тут один ими наслаждаюсь. Это их работа, не моя. Моё дело сигнал вовремя подать. Сигнал о помощи собрату по чиновному классу, по служению государству. Сигнал «S.O.S», практически. Спасите заблудшую душу, товарищи из компетентных органов: и Хорту поможем, и вам работа по профилю, и мне не лишняя отметка в личном деле. Всё для людей. Чем могу. Чем могу. А теперь спать, спать.

Это же там, в 2014-м, заснул юный сорокаоднолетний заведомо Зареченского министерства внешних экономических связей Петя Лазарев, нагрузившись без меры крепким алкоголем. Отчего же так похмельно трудно выходить из мнемонического погружения мне сегодняшнему, старику семидесяти семи лет от роду, водки не нюхавшему лет уже пять, если не больше?

Тошнит, голова кружится, руки дрожат. Хоть прямо сейчас принимай оздоровительную рюмку, которая вернёт организм в рабочее состояние, да кто ж её тебе тут подаст. Не Клепсида же Матвеевна, которая глядит, наклонившись, внимательно, озабоченно.

— Бледный вы какой нынче, Пётр Вадимович, — быстро меряет давление, качает головой. — Сто тридцать пять всего и пульс ровный, умеренный. Как чувствуете себя, болит что, нет?

— Потряхивает меня, Матвеевна, — признаюсь честно. — Тошно мне что-то сегодня.

— На-ко, нашатыря нюхни, милый, — поднимает мне голову, суёт под нос остро пахнущую вату, от которой враз яснее голова и проходит тошнота.
— Полегчало? Вон, гляжу, на щёки румянец вернулся, как у красной девицы.
— А может, мне просто стыдно, как думаешь? Может, от совести вдруг тошно стало?
— А всё может быть, — успокаивается Клепсидра, забирает с тумбочки обязательный кабинетный реквизит в виде песочных часов. — Полежи пока, Пётр Вадимович, не вставай резко. А то прильёт вдруг твой стыд к голове — и в обморок грохнешься со своей этой совестью. Не надо тебе. Действительно, не надо. Прожил век без совести, нечего и начинать.

Погружение четвёртое. 19

Глава 1. Серёжа

Раньше кладбища были как кладбища — с человеческими памятниками, на которых выгравирован уместный портрет покойника, иногда с пожеланиями усопшему от скорбящей родни, с оградками, со столиками, с высаженной на отведённой тесной кладбищенской площади трогательной берёзкой или там сосёнкой. Красота, кто понимает.

Элю хоронили в уже осовремененной реальности, когда на американский манер оградки со столиками были отменены, и лежать новопреставленным было велено ровными рядками посреди просторного газонного поля, где ни тенёчка тебе от заботливого деревца, ни привычных мусорных баков для поминальных отходов, ни отдохновения от повседневной суеты живым ещё человеком, приходящим провести упокоившегося родственника. Ни могилку тебе не прибрать, ни оградку поправить, ни чекушку раздавить наедине с покойником. Вежливо стало на кладбищах, чистенько, культурненько, ровненько, только пустенько: перестал народ наезжать толпами на общегородской субботник, именуемый в полуязыческом православии Радоницей или, по-простому, Родительским днём. Да и то — какой уж тут, прости господи, праздник, когда ни присесть у могилки по-человечески, ни стакан поминальный поставить на стол, а сделать глоток прямо из бутылки уже и неловко как-то, когда тебя со всех сторон за километр видно, как на футбольном поле. А ещё о каком-то нарушении личных границ говорить повадились, чисто презренные англосаксы. Впрочем, всё это как-то постепенно, неспоро входило в новый кладбищенский уклад, окончательно ныне устоявшийся, а тогда в 2041-м ещё дороги разбитые между могил кое-где оставались, и раскидистые спокойные клёны ещё не все повырубили по периметру нового муниципального погоста, поименованного Гражданским, потому как Военный мемориал оставался через дорогу, по правой стороне Иртышского тракта, и тянулся он до самого горизонта: десять лет Сепарации собрали свой обильный урожай мёртвых, привезённых сюда за тридевять морей, но успевших лечь в зареченскую землю ещё по старым, вполне себе человеческим кладбищенским понятиям...

Померла Эля аккуратно на третий день после объявления проэдром Константином Строговым победы Коалиции традиционных ценностей над прогрессистами треклятого Илона Маска. Линия разграничения двух непримиримых социальных земных систем пролегла по Малаккскому проливу и островам Филиппинского моря, и победительный Третий флот Святороссии уже готовился брать курс на Владивосток, в родную, так сказать, гавань. Но Эльвира

вкуса великой победы познать не успела, поскольку за месяц до того впала в кому после операции на головном мозге, из которой так уже и не вышла. А историческая Делийская конференция, где Строгов, Цзяхой, Максвелл и Нкомо подвели итог Третьей мировой войны, закрепив сложившийся статус-кво между традиционалистами и маскианцами, случилась ровно на сороковой день после похорон Эли — это зачем-то впилося мне в память намертво. Не то что всякое другое, которого в памяти теперь остаётся с каждым днём всё меньше и меньше.

— Удобно тебе, дед? — спрашивает сзади Серёжа, везя мою медицинскую коляску по благополучному асфальту центральной кладбищенской дорожки. — Сейчас на траву свернём, там потрясче чутка будет, уж извини.

— Ничего, Сержик, хорошо мне, удобно, — успокаиваю внука. — Ты совсем-то уж из меня инвалида не делай, я бы и своими ногами до бабушки дошёл, без излишних достижений человечества.

— Какие тут достижения? — удивляется второкурсник медицинской академии. — Эту инвалидную коляску полтораста лет назад придумали, с тех пор никаких кардинальных изменений никто в конструкцию так и не внёс.

— Колесо, — кратко замечаю я, надеясь что дальнейших пояснений не потребуется: устал я всё же на нынешней жаре, хорошо, что на коляске меня Серёжа везёт, а то так и телепался бы от парковки таксидронов сюда бы полчаса, пожалуй, на своих двоих с тростью в придачу.

Напрасно надеялся.

— Что «колесо»? — не понимает внук, чешет мускулистой рукой короткостриженный русый затылок.

— Дедушка хотел сказать, что человечество изобрело колесо для того, чтобы ты его сюда не на горбу своём тащил, а культурно вёз на специальной коляске для маломобильных граждан, — объясняет сзади Берта сыну. — В смысле, для людей. Я правильно поняла, папа?

— Правильно, Берточка, правильно, — киваю голосу дочери.

По форме — верно, по сути — издевательство, конечно. Но тут уж ничего не попишешь: Берта никогда не отличалась простой человеческой тактичностью, не заложила в неё природа этого качества характера. Хотя, причём тут природа, какая природа? Я не заложил, Эля не заложила. Но что выросло, то выросло — теперь уж не исправить.

— Тогда понятно, — удовлетворяется разъяснением Серёжа. — Умеешь ты, дед, философию вернуть на ровном месте. Хоть место не сказать чтобы совсем уж ровное.

Это он меня с лёгкой натугой из небольшой ямки в травяном грунте выкатывает.

— Давай я сам пойду, Сержик? Тяжело же тебе.

— Ему не тяжело, да мы уже и пришли, считай, — дочь выходит вперёд, идёт перед коляской, сдувая падающую на глаза чёрную чёлку. Обтянутый узкими брюками большой крепкий зад так похож на Элин, что на секунду вижу вдруг супругу, спешащую положить цветы к своему могильному камню.

Действительно, вот и её могилка. Пусть без привычного печального холмика с цветочной грядкой — просто торчит из земли белый камень с лаконичным шрифтом: «Эльвира Александровна Лазарева. 1975 — 2041». И ни фотографии тебе, ни эпитафии.

Что ж, Хорт её хоронил тогда, имел на то своё законное суждение. Я бы хоронил по-другому, но бывшие мужья против настоящих такого права не имеют. Хорошо хоть тогда Виталий сам позвонил, сам пригласил на последнее прощание, имел человеческое понятие. А мог бы и не иметь, был в своём праве.

Нет ничего тайного, что не становилось бы явным в нашем богоспасаемом городке.

«А ты оказывается, доносчик, Лазарев. Даже удивительно, не ожидал», — сообщил Хорт при случайном столкновении нос к носу на тротуаре. Ничего больше не сказал, обошёлся без рукопожатия, демонстративно перешёл на другую сторону улицы.

Через полгода после его увольнения из минкультула встреча эта случилась. Не то чтобы слишком задела меня тогда короткая хортовская реплика, прямо как выдернутая из дурной пьесы драматурга Свёклина, но в памяти надолго задержалась.

Спорил я с ней внутри себя часто, особенно в нетрезвом одиночестве: «Не донос это был, Виталя, а долг гражданина своей страны, патриота, как бы тебе не нравилось это слово. Не против тебя я тогда докладную написал, а против взглядов твоих антигосударственных, транслируемых на широкую аудиторию, против пасквиля твоего на наше общее прошлое, против свободы безграничной, бездумной, не осознающей последствий её агрессивного выражения тогдашними либералами.

И разве неправ я оказался по итогу? Скажи мне, Хорт, как на духу? Сам погляди: исторгла страна из себя вальжжных либералов, властителей умов не окрепшего мозгами поколения. Нет их теперь, Виталий! Повывели мы вас, как тараканов, в том числе и моими усилиями. Да и тебе на пользу моя докладная записка пошла, разве не так? Вот и всё, Хорт, вот и заткнись. Доносчика себе нашёл».

А ведь и правда: помыкался тогда Виталий, по слухам, на разных непрестижных должностишках, пока не выплыл через пару лет в качестве пресс-секретаря одного из крупнейших зареченских банков. Пресс-конференции проводил, представлял меценатские арт-проекты, вновь замелькал в медиапространстве, пару интервью дал Эльвире на предмет долгосрочной поддержки современного искусства ответственными кредитными учреждениями.

Потом вдруг организовал первое за Уралом серьёзное издательство, специализирующееся на модной зарубежной литературе, хорошо поднялся — вначале на дружеских банковских инвестициях, затем на госзаказах методической учебной литературы по истории родного края — и лет через десять вышел в видные деятели местного бизнес-сообщества.

И что, помог Витале в этом тот мой давний сигнал или помешал? Так что, не нужно мне тут.

Но когда Эля внезапно ушла к Хорту, не осталось у меня сил на эти внутренние с ним оправдательные диалоги. А затем и обиды уже никакой на них обоих не осталось. Всё стёрлось в пыль, всё быльём поросло.

Хоронили Элю не то чтобы пышно — какая уж пышность после только что закончившейся Сепарации — но значительно, со всем уважением к многолетнему главному редактору «Вечернего Зареченска». Речи приличествующие случаю звучали, венки от областного правительства и мэрии выставлены были под присмотр почётного караула (который потом, после похорон, отнёс их парадным шагом в чёрный лаковый погребальный автобус к

могильных дел мастерам, а уж куда те потом эти венки девают, знать траурной публике не положено, да и не до того ей), сам мэр прочувственно Хорту руку пожал, Берте с Серёжей, стоящим в первом ряду скорбящих, соболезнование выразил, но и со мной на прощанье с пониманием поздоровался, кивнул коротко, сочувственно. Понятно, что отставной муж на похоронах не ровня свежеиспечённому вдовцу, но и он соответствующего участия достоин, как ни крути. Этикет старой школы, такого сейчас ещё пойдёшь поищи. Нет, хорошо Элю упокоили, по-человечески, согласно рангу и итогу жизненного пути, тут уж что есть, то есть.

А как не стало бабушки, Сержик чаще стал меня навещать: раньше-то Берта по очереди на выходных нам его с Элей делила — один уик-энд внук у Эльвиры с Хортом в загородном доме, на следующий мы с ним в кино ходим зимой, потом в пиццерию заглянем, а летом так на рыбалку укатим карасей ловить на большое Лебяжье озеро.

Там хорошо было, если какую-нибудь стояночную поляну вовремя занять: озеро всего в сотне километров от города, довольно популярное у отдыхающих, к обеду в субботу, бывает, и места не найдёшь в прибрежном сосновом бору вперемешку с кедрами.

Очень Серёжка такие выезды любил, чтобы костёр учиться разжигать, палатку ставить, лодочным мотором управлять, карасей-лопатников удочкой, согнутой в дугу, в лодку затаскивать. Рыбу только чистить не любил, так и я не люблю, и никто не любит.

Сидим, бывало, вечером у костра, я ему созвездия показываю, которые сам знаю — Медведицу Большую и Малую, Кассиопею, звезду Полярную да Млечный путь, а Сержик зевает, к плечу прижавшийся, в куртку закутанный, то на небо смотрит, то сучья в костёр подбрасывает. Поправишь костёр, объяснишь, как правильно в него дрова подкладывать, спросишь: «Может, спать пойдём?» Не хочет, головой мотает, а у самого уже глаза слипаются.

Потом его полусонного в палатку отведёшь, в спальник засунешь и сам рядом разляжешься, чтобы в прохладной тишине слушать ровное дыхание спящего внука. Так-то лучшие часы в моей жизни, если всерьёз сейчас вспоминать, почестному.

До армии, считай, Серёжа у меня все выходные коротал, пока Берта свою личную жизнь устроить пыталась. Жизнь не устроилась, а внук все правильные книжки в моей библиотеке скачал, всю полезную философию грядущей своей жизни выслушал и уяснил, в тонкостях политического момента начал понимание находить.

Это поначалу, а потом, конечно, прибежал на полчаса, обедал чем бог послал прямо со сковороды, дожидался звонка от друзей-товарищей и пропадал с ними на целый день, возвращаясь поздним вечером, иногда с запахом пива — крепче ничего себе не позволял, или я не видел просто. Перед сном болтали с полчаса, потом Сержик срубался, а утром завтракал и опять спешил куда-то к приятелям да девушкам современным. И всё равно, хорошо мне с ним было. Да и сейчас хорошо.

Стоит у могильного камня бабушки, молчит. Берточка траву сорную нашла по краю, выдернула, подошла к сыну. Тот обнял её, молча смотрят на нашу с Элей общую фамилию на памятнике. Потом Серёжа встряхнулся, руку на серый мрамор положил, сказал: «Лежи, бабушка, спокойно, мы тебя помним. Осенью

опять придём». Повернулся ко мне: «Ну что, дед, навестили могилку. Поехали домой». Поехали, чего бы не поехать.

— А я, Матвеевна, нынче жену навещал на кладбище, — делюсь новостью с хранительницей мнемория, устанавливающей на прилежбищную тумбочку свои массивные песочные часы. — Годовщина смерти у неё сегодня, девять лет как померла.

— Хорошее дело, Пётр Вадимович, нужное, — кивает головой Клепсидра, интересуется. — Дочка вас забирала?

— Да, Берта прилетала с внуком Серёжкой.

— Хорошие они у вас, заботливые, — Матвеевна уже исполнила весь необходимый служебный ритуал, а всё ж таки не уходит включать свою шайтан-машину, поддерживает разговор уважительно. — А внук настоящий красавец вырос, в деда, похоже, пошёл. Работает он у вас, учится?

— Учится в медицинском, — мне приятно рассказывать Клепсидре про Сержика, а хоть бы я и хвастаюсь. — За три армейских года определился с будущей профессией, теперь познаёт азы лечебного дела. Отличник, на Байкал собирается через неделю, каникулы догуливать.

— Красиво там, говорят, — согласно качает головой медсестра. — А людей лечить — это ж не на войне их убивать. Хватит войн-то, поди, навоевались за последние годы, пора уж на мирные рельсы, наконец, сворачивать. Молодец внук ваш, Пётр Вадимович, верную дорогу выбрал.

— И я так думаю. А ещё я думаю, Матвеевна, что правильно Синклит ввёл обязательную воинскую повинность. Что там они в восемнадцать лет понимать в жизни умеют? А вот прослужат положенные три года, и понимание к ним окончательное приходит, взрослое. И с профессией будущей легче определиться тогда. Верно я говорю?

— А всё может быть, — неопределённо кивает Клепсидра, дежурно спрашивает. — Какое десятилетие наметили нынче, Пётр Вадимович?

— Молодым хочу себя опять ощутить, знаешь. Отправь-ка ты меня, пожалуй, в девяностые. Я уж забыл, как там всё было, каким я там тогда был. Хочу вспомнить.

— Ладно, попробуем, — просто соглашается хранительница времени, поправляет мне мнемонаушники, чуть пожимает плечами и задёргивает за собой шторку у лежбища.

Я закрываю глаза и начинаю проваливаться в мнемонический сон. Хочется верить, что в радостный.

Глава 2. Философия костра

— Вставайте, граф, рассвет уже полощется, из-за озёрной выглянув воды! — жёсткая рука пытается сдёрнуть с моей головы одеяло, бережно охраняющее остатки тёплого утреннего сна. — Просыпайся, начальник, солнце уже встало, пора дело делать.

Открываю глаза, вижу щерящуюся из-под трёхдневной рыжей щетины улыбку Финна, который тянет с меня тонкое синее солдатское одеяло. Руки у Финна расписные в тот же цвет замысловатыми тюремными татуировками.

— Какое ещё дело, выходной сегодня, — хочу отвернуться к стене, но сварной не отстаёт, поворачивает меня обратно.

— Так за грибами же сегодня решили, ты забыл, что ли? — возмущается Финн.

За грибами, значит. А, ну да, за грибами. Вечером так решили после субботней бани, что выходной нужно провести с пользой, сгонять на Старый остров, что у другого берега Оби, где, говорят местные, обабки пошли после нынешних дождей в промышленных прямо масштабах.

Ладно, дело так дело. Встаю, поёживаясь от утренней прохлады в доме, натягиваю штаны с футболкой, выхожу в общую кухню к большой русской печи: гудит негромко, видно, недавно затопили. В окна сыплется ранний утренний свет серого дождливого августа.

— Чего жрать будем? — удовлетворённый моим подъёмом спрашивает Финн.

— Яичницу пожарим или макароны с тушёнкой сварганим?

— Давайте яичницу, — зеваёт появившийся в дверях кухни Витька Сорокин, чешет отросшую за лето чёрную курчавую бороду. — Там сала в холодильнике приличный кусок оставался, на нём и пожарим.

— Согласен, начальник? — с полуиздевательской интонацией интересуется у меня сварщик пятого разряда Владимир Кейка по прозвищу Финн.

— Согласен.

— Тогда я займусь, минут через десять всё готово будет. Воды принеси в чайник залить и Роботу скажи, чтобы поторапливался к столу.

— Я принесу, — Сорока берёт эмалированное ведро, выходит в сени, кричит: «Роберт, завтрак через пять минут!»

Возвращается, вначале заполняет колодезной водой чайник, затем наливает её в самодельный из пластиковой канистры рукомойник. По очереди умываемся с Витькой, чистим зубы.

Посвежевшие садимся за стол, где уже режет хлеб вернувшийся со двора Роберт Мухамедзянов — пожилой негромкий татарин с бритой наголо головой, водитель «шишиги» нашей маленькой доблестной бригады шабашников. Финн зовёт его то Роботом, то Махмудом. Роберт не обижается, Роберту всё равно. Обижается только Витька, которого в первый же день нашего с ним прибытия в посёлок Лес, сварной почему-то окрестил Подсвинком. По той же непонятной причине, меня Финн обозвал Графом. Так и живём здесь уже второй месяц: Финн, Робот, Граф и Подсвинок.

В смысле, это мы с Сорокой второй месяц, а старожилы бригады строят Северолесскую нефтебазу с ранней весны под руководством прораба Эдуарда Васильевича, Витькиного дяди, который позавчера уехал по делам на «метеоре» в Зареченск, оставив за себя на хозяйстве старшим почему-то меня, окончившего нынче второй курс университетского истфака, а не сорокалетнего Финна, который взрослее меня вдвое, или Робота, который, кажется, ещё старше.

Впрочем, ясно почему. Две недели назад Эдуард (Шляпа, как зовёт его за глаза Финн) так же уехал в областной центр, передав ключи от железного сарая с заветным имуществом экспедиции Вовке Кейке с наказом бензина из бочки залить в бак махмудовского ГАЗ-66 ровно один раз, чтобы не срывать план работ, согласно которому Финн должен был сварить леерные ограждения на трёх блестящих круглых ёмкостях строящегося нефтехранилища, мы с Витькой должны были продолжать свои земляные работы по отсыпке отмопок, а Робот, как обычно, должен был возить нас каждый день за восемнадцать километров от пристани Лес почти до Северолесска, недалеко от которого и возводилась эта нефтебаза силами двух студентов, одного молчаливого водителя и недавнего рецидивиста по кличке Финн, хоть в паспорте и указана у него экзотическая национальность карел.

А ещё на последней странице документа, выданного на имя гражданина Владимира Кейки, при желании можно было обнаружить еле заметную красную точку. Её нам с Витькой он предъявил, как безусловный факт своей заслуженной воровской жизни, поскольку такая отметка обязательно наносится органом внутренних дел в паспорт каждого, вернувшегося на волю после второй отсидки. Финн вернулся от хозяина в феврале уже в четвёртый раз твёрдо решившим на зону больше не возвращаться, и подвернувшуюся в апреле шабашку считал небесным провидением, поскольку на работу по полученной в зоне специальности в наше дикое время повсеместной разрухи он мог рассчитывать не ближе сотни километров от любого мало-мальски крупного города. И теперь по этой самой точке в паспорте каждый мент при проверке документов легко может понять сущность подозрительного субъекта: так что, знайте, студенты, и учите жизнь.

Рассказывал все эти удивительные факты сварной после третьей бутылки самогона, которую они с водителем выручили за проданную бочку солярки со строящейся нефтебазы. Там этих бочек стояло штук двадцать в ожидании прибытия бульдозера с грейдером для планировочных грунтовых работ: выбивать технику и уехал прораб Эдуард в офис своего строительного треста. И задержись бы он в Зареченске на неделю, так не одну бочку продали бы Финн с Махмудом, а все двадцать — такой уж у них случился энтузиазм и рабочая смекалка.

И вот, значит, старшим теперь на хозяйстве я, поедающий яичницу на сале в окружении собратьев по трудовому героизму, ожидающих моих руководящих распоряжений выходного дня.

— За грибами, значит? — уточняю текущий распорядок у вверенного мне трудового коллектива, отставляя пустую кружку из-под выпитого чая.

— Обязательно за грибами! — весело соглашается Финн, которому бессмысленное сидение на одном месте хуже шила в седалищном нерве. — Поехали, поехали, чего ждём?

Однако грибников в коллективе со вчерашнего дня заметно поубавилось.

— Дождь, — кивает за окно Робот. — Не хочу. Правое переднее сниму, посмотрю. Травит.

— А ты, Подсвинок? — обращается к Витьке сварной без оскорбительного смысла вопроса.

Просто такое у человека погоняло, что ж ему и не жить теперь? Вон у начальника областного ГАИ в Зареченске была фамилия Чернописько, полковник Чернописько. И ничего, уважаемым человеком на пенсию вышел в прошлом году. Легендарная личность в городе, благодаря своей фамилии. И мужик справедливый, судя по отзывам автомобилистов. Не в фамилии дело и не в прозвище, а в том, какой ты человек по своей природной сути.

Но Сорока всё равно обижается:

— А ты свинья! — тычет возмущённым пальцем в Финна. — Старый рыжий кабан!

— Да мне похрен, — улыбается сварной. — Так едешь или нет?

— Не еду.

— Тогда вдвоём, начальник, да? Пошли лодку на воду спускать.

До берега от нашей избы метров триста с невысокого яра. Внизу на небольшом пляже поближе к глинистому обрыву в узком железном сарае хранится бочка бензина и лодочный мотор «Вихрь-30» прораба Эдуарда Васильевича,

привезённый из города. Ну, это он так сказал, что «Вихрь» тридцатисильный, поскольку без удостоверяющей надписи на колпаке проверить это утверждение невозможно, а колпака у мотора никто никогда не видел.

Открываю сарай ключом из выданной мне прорабом связки. Русским царям от богоданной власти полагались скипетр и держава, а у меня вот связка ключей — от лодочного сарая, от самой лодки, от бани и от избы, выделенной шабашникам под временное жительство Константином Мелешко, получившим от Финна гордое прозвище Коровник, — здешним бригадиром подразделения совхоза им. Бармагидзе, главным человеком нашего пристанского посёлка на берегу Оби.

— Вовка, а кто такой был этот Бармагидзе, не знаешь? — спрашиваю у бывшего жулика, а ныне рабочего человека Владимира Кейки, пока он прикидывает, как лучше прихватить мотор, чтобы ловчее донести его до «казанки», пристёгнутой на замок металлическим тросом к здоровенному штырю, забитому намертво в землю в пяти метрах от плещущейся речной волны.

— Знаю.

— Кто?

— Грузин... Снизу подхватывай, над винтом. Взялся? Понесли.

Установить мотор на лодку не проблема, проблема его завести. Ветер и течение снесли «казанку» метров на триста вниз, пока чертыхающийся разнообразным матом Финн наматывал на маховик стартера пусковой шнур и дёргал его без всякого толка. Наконец, «Вихрь» чихнул, схватился, громко взревел под холостым газом, который успел добавить мотору рулевой. Прогрев движок с минуту, Финн с лёгким толчком двинул лодку вперёд, потом выкрутил ручку газа на полную. «Казанка» опасно задрала нос, затем опустила его, выйдя на глиссер, и мы помчались поперёк широченной реки к большому заросшему кедрачом острову, прыгая с одной метровой волны на другую и отбивая свои тощие зады о деревянные сиденья лодки.

Первый раз иду на моторке и не столько страшновато мне, сколько холодно от скорости и пронизывающего ветра под усиленно морозящим августовским сибирским дождём.

Но вот и берег. Финн глушит мотор, лодка мягко втыкается носом в прибрежный песок. «Чего сидишь, Граф? — рывкает сзади рулевой. — Выскакивай, хватай верёвку и вяжи вон к тому стволу. Да лодку подтяни на берег вначале, пассажир! Наберут студентов на мою голову».

Ну, студент, и что? Не всякому доведётся в девятнадцать лет зону потоптать, чтобы потом корчить из себя бывшего хозяина жизни. Вот, привязал, дальше что?

— Молодец, Граф! — Финн проверил узел веревочного конца, обмотанного вокруг массивного топляка. — Справляешься. Сейчас чифирнём по-быстрому и в лес выбираться будем.

Сварщик оглядывает глиняный крутойяр, намечая подъём к грибным местам и выбирая место посуше под наклонённой к реке ивой, быстро ломает с топляка сухие ветки, разжигает небольшой костерок, достаёт из лодки закопчённый чайник, подтягивает резиновые сапоги, заходит в воду.

— Ты-то будешь? — вопросительно смотрит на меня.

— Нет, без меня.

— Как скажешь, быстрее сварганится.

Финн зачерпывает из реки воды в чайник ровно на стакан, вешает на огонь. На песке уже стоит эмалированная кружка, в которую он засыпает небольшую

пачку дешёвого грузинского чая, заливает её кипятком. Фольгу от чая бережно разглаживает на коленке, затем плотно накрывает ею кружку. Достает из кармана телогрейки две шоколадные конфеты: одну протягивает мне, другой по чуть-чуть заедает каждый мелкий глоток обжигающего тягучего практически чёрного напитка. Наконец встаёт, бросает чайник с кружкой в «казанку», пихает меня локтем в бок:

— Вот такое, Граф, у нас холодное лето 93-го, — глаза у Финна блестят, улыбка до ушей. — Пошли, что ли, за грибами, за грибочками. Гляди веселей, води себя сообразно статусу свободного человека свободной, как сейчас говорят, страны. Родина ждёт своих героев!

И первым рванул вверх по обрыву, только комья глины вниз посыпались.

Грибов и вправду было много: за полчаса успели набить до половины березентовый рюкзак за спиной Финна, когда в небольшой ложбине наткнулись на корову. Чёрно-белый крупный рогатый скот неуклюже лежал на боку, большие тоскливые глаза, изредка моргая, смотрели в одну точку, словно видели за ней скорое приближение коровьева рая. Или ада, если он существует в религии потенциальной говядины. Вставать корова отказывалась категорически, иногда пытаясь мычать из последних своих животных сил.

— Кончается, — констатирует много чего повидавший сварщик. — И чего делать теперь будем?

— Да ничего, — на меня картина «Смерть коровы» особого впечатления не произвела. — Пошли дальше за подберёзовиками.

— Погоди-погоди, — Финн уже скинул рюкзак, суетливо разводит костерок. — Сдохнет корова — всё, мясо считай испорченным, туша в скотомогильник пойдёт. А так мы её сейчас забьём, развалим — и корове облегчение, и нам доброе дело зачтётся. Глядишь, и в этом скорбном мире, а не только в загробном. Только не навесили бы на меня статью за кражу крупного рогатого скота, как думаешь?

Я только пожимаю плечами, грея руки о шипящий под каплями дождя чахлый костерок. В отличие от суетного Финна мне нет дела до личной трагедии животного, с которым я не был знаком раньше и не понимаю, как нынешнее краткое знакомство может конвертироваться в конкретное материальное благо, на которое намекает Вовка Кейка.

А тот уже достал свой узкий выкидной нож, вертит его в руках, соображая вслух:

— Надо бы тебя, Граф, отправить на лодке с известием до Коровника, пока я скотиной займусь. Да ты ведь, студент, с мотором обращаться не умеешь, так?

— Ну, так.

— А если я поеду, то корова может копыта бросить, и тогда Мелешко придётся её активировать — мёртвое мясо на стол брать не полагается... Что же делать, что делать? Чифирнуть бы сейчас, да чая больше нет... Короче, сейчас я её завалю, ножик тебе оставлю, покажу, что и как — дальше сам разбирать будешь, как сумеешь. Через час-полтора вернусь с Коровником, закончим это дело.

Глядишь, что-нибудь к ножичку и прилипнет по итогу. Согласен, начальник?

— Да мне похрен, Финн. Давай только уже побыстрее. Холодно.

«В то лето шли дожди и было очень сыро, в то лето впереди лишь осень нам светила...», — запекает Вовка и одним движением перерезает корове горло.

Закуривает, наблюдая, как трава вокруг заливается почти зеркальной исчерна-красной кровью, как будто застывающей на глазах под промозглым ветром. «И

в стареньком плаще, среди людей по лужам, как будто средь вещей шагал я неуклюже...»

— Визбора песня, студент, ты поди и не слышал о таком. А я в Ангарске встречал человека, который чалился с ним в одном отряде. Он там у этого Визбора и списал пару десятков песен, они в одной самодеятельности выступали. Душевные, я тебе потом исполню... Давай-ка, на спину перевернём, помогай не стой. Смотри, я тушу по брюху вспорол, дальше требуху аккуратно вынешь и ножичком, ножичком аккуратно мясо отделяй от шкуры, вот так, вот так... В общем, развлекайся, пока я за Коровником съезжу. Спички есть, костерок запалить заново, если погаснет? Вот и гут.

— Так, может, я с тобой? — совсем не греет меня перспектива под дождём возиться с трупом бывшего домашнего животного. — Ты к бригадиру пойдёшь, а я домой. Чего мне тут?

— Не получается, Граф. Думал уже об этом. Уйдём, а на свежатину волки выйдут или медведь какой. За час от коровы рожки да ножки останутся. Такая у нас задачка про волка, козла и капусту выходит. Всяко тебе охранять добычу нужно. Главное, костёр поддерживай, ну и мясом занимайся, чего зря сидеть. Не скучай.

Шебутной Вовка заспешил через островную тайгу к лодке, передав мне узкий нож с неприятно липкой от крови наборной рукоятью.

Пробую оттягивать шкуру, подрезая под ней волокна, но работать холодно, трудно, неудобно, да и не получается совсем. Да что я, нанимался им, что ли, коров в лесу разделывать?

Сыро на открытой ложбине, неуютно. Беру горящие сучья из костра, переношу их к подножию разлапистого кедра, но костёр на новом месте разгораться не желает, тухнет. С трудом раздуваю огонь под большим сучковатым берёзовым поленом, береста начинает гореть ярко, но быстро прогорает. Приходится каждые две минуты раздувать огонь, подкладывая сверху набранные вокруг мелкие ветки и хвойную подстилку. Но хоть посуше здесь, кедра худо-бедно защищает от унылых хлябей небесных. Уже неплохо.

За вознёй с костром совсем отвлёкся от окружающего пространства, когда вдруг слышу близкий треск веток. «Вот тебе и волки», — просвистела в мозгу холодная и какая-то чужая мысль. Метнулся к туше, хватаю с земли липкий Вовкин нож, хочу быстро вернуться к спасительно чадающему костерку, но не успеваю. Из кустов выскакивает крупная серая лайка, взлаивает тонко, подбегает близко, отпрыгивает назад, стоит, чуть подрагивая лежащим на спине свёрнутым в крендель хвостом. Через минуту за лайкой на поляну выходит высокий бородатый мужик в брезентовом плаще. Оглядывается, скидывает с плеча рюкзак, протягивает руку:

— Здоровы будем. Ефим Егорович.

— Петя, Пётр. Здравствуйте.

— Чего у тебя тут, Петя-Пётр?

— Да вот, корову нашли, она помирала. Товарищ её зарезал, а сам за бригадиром Мелешко поехал, рассказать. Ну, а я тут пока, от волков охранять.

— Дай-ка, — непонятный таёжник кивает на Вовкин нож, протягивает большую задубелую ладонь. — У нас тут волков последний раз отец мой видел пацаном ещё. Волки у них, надо же.

Пробует на ногте лезвие, возвращает:

— Дряннь ножик, зэковский. Таким ты мясо разделывать до вечера будешь.

— Ну. Я так ему и говорил.

— Видел я твоего блатного, когда он у лодки сутился. Непонятно себя вёл. Уехал — дай, думаю, посмотрю, чего он тут нашкодил. А здесь ишь как оно всё.

— Нет, мы правда корову не трогали, она сама тут уже лежала. Мы и поднимали её за рога, вот так, всё без толку. Мы просто за грибами сюда сегодня, а здесь вон что.

— Ладно, посмотрим, чего и как. Иди костёр пошевели, затух почти. Сиди, грейся, я сам. Белка, иди туда.

Лайка послушно идёт под кедр, ложится рядом с костром. Я нагребая на затухающий огонёк побольше хвои, набрасываю сверху мелких веток. Костёр вспыхивает, становится веселее — и от огня, и от этого лесовика Ефима Егоровича, ловко разделяющего сейчас несчастную корову.

— Иди сюда, Петя, — зовёт сноровистый местный житель. — Гляди.

Он тычет пальцем в заднюю ногу коровы, уже освобождённую от шкуры. На мышце бедра неприятно зияет небольшая дыра в кольце жёлтой гнойной массы. Ефим Егорович поворачивает ногу другой стороной, там наблюдается та же картина.

— Свищ это, сквозной, — срывает пучок травы, вытирает тёмное неказистое лезвие своего большого ножа с простой деревянной ручкой. — Всё правильно сделали, не жилища была нетель, ходить не могла. Но вроде справная, пару дней бы могла прожить, не должна так вот на месте кончиться в одночасье. Давай в требухе покопаемся ещё.

Таёжник ловко подрезает в нескольких местах распластанную тушу, с усилием выдёргивает из горла что-то, похоже на гофрированную трубу, и легко вытаскивает из коровы все её внутренности, сразу превратив этим действием бывшее животное в полуфабрикат для мясокомбината.

Шевелит лезвием ножа требуху, отрезает и отбрасывает в сторону большую красивую печень, затем приседает заинтересованно, достаёт круглый белый пузырь в кровяных прожилках, из которого торчит тонкий металлический штырь, похожий на спицу.

— Вон оно чего, — удовлетворённо кивает своей находке. — Экую железяку заглотить удосужилась. Эта-та спица желудок ей насквозь и проткнула.

Вовремя вы её нашли, кончилась бы с часу на час. Ну всё, иди к костру, я за двадцать минут управлюсь.

А костёр как не хотел гореть, так и не собирается. И ни сырая хвоя не помогает, ни тонкие ветки — только едкий дым идёт из-под них, заставляя слезиться глаза и трястись пальцы, которые извели уже полкоробка спичек.

— Не горит? — Ефим Егорович отодвигает тяжёлой рукой меня от костра, бросает рядом крупные смолистые сучья. — Дай-ка, я.

Сдвигает в сторону всю мою нелепую дымящуюся конструкцию, кладёт одно брёвнышко покрупнее, на конец его поперёк кладёт другое. Ломаёт о колено сучья поменьше, укладывает их в основание получившегося прямого угла.

Отходит к неподалёку растущей лиственнице, сламывает растущие снизу ствола сухие ветки, толкает под низ будущего костра. Достаёт из рюкзака небольшой кусок бересты, скрученный в трубку, поджигает под плотно сжатыми ветками.

Через минуту огонь ярко и весело горит, делая окружающий мир проще и приятнее. За моей спиной местный житель натянул кусок полиэтилена из своего рюкзака, теперь тепло от костра отражается от этой стенки и греет со всех сторон.

— Ну что, городской, ловчее так? — Ефим Егорович заглядывает в рюкзак, подмигивает. — Студент, по всему?

— Студент, — привычно вздыхаю на обычную пренебрежительность местных к факту моей учёбы в университете, одобряю. — Хороший костёр, тёплый.

— Стерлядку чушью будешь? — таёжник вытаскивает из рюкзака холщовый мешок, достаёт из него пару остроносных запретных рыб.

— Как, чушью? — не понимаю вопроса.

— Сырую, значит, — Ефим Егорович режет стерлядь на ровные куски, чуть отливающие в желтизну. — Чушь — сырая стерлядь или там кастрюк. Если её свежепойманную подсолить, то минут через десять ешь себе на здоровье. Бери, пробуй — я её час назад с перемета снял, солью присыпал, давно готова. И не описторхоза тебе, ничего. Вот, хлеб бери.

Пробую чушь: вкусно, костей нет, только в середине какой-то белый хрящ, похожий на проволоку. Вытаскиваю его из стерляди, выбрасываю в костёр.

— Вязига, — кивает рыбак на корчащуюся в огне несъедобную часть. — Бабка моя пироги с ней делала, любил их в детстве. Сейчас с вязигой никто не возится, хлопотно. А жаль... Ну что, чайку?

— Чайку, — охотно соглашаюсь, поскольку во рту от чуши солоно и пить хочется.

— Тогда соорудим костёр типа колодец, — рыбак выкладывает на огне из сучьев некое подобие избяного сруба, вешает над решётчатым квадратом большую жестяную банку с дужкой из алюминиевой проволоки, наполненную водой из тонкого ручейка, сочащегося между болотных кочек ложбины. — Теперь жар нужен не нам, а котелку. Над «колодцем» махом закипит... Да не суй ты туда лишнего, костёр берёт столько сколько нужно, тогда от него отдача будет.

— А у меня никак не получалось хороший костёр развести, как ни пытался тут. Отчего-то мне рядом с этим Ефимом Егоровичем ровно и спокойно — не нужно самоутверждаться, проявлять инициативу, а то и дерзость, чтобы занять своё место в этом суровом окружающем мире, где то профессору нужно доказывать свои знания, чтобы сдать зачёт, то с грэсовскими драться на дискотеке в общаге, то Витьку убеждать, что все нынче хотят стать коммерсантами, но не всем удаётся. А тут сиди себе спокойно, учишь таёжным навыкам у опытного человека, не дёргайся: жизнь не скачет прыжками мимо, а течёт сквозь тебя здесь и сейчас. Что и требовалось доказать. Самому себе, в первую очередь.

— Ты одно берёзовое полено пытался зажечь, а так костёр не запалишь, — таёжник берёт из моих рук кружку с чаем, которая у нас одна на двоих, отхлёбывает, не торопясь. — Одно полено тухнет, три сгорают, два горят — так меня ещё в детстве отец учил. Вот хоть нодью возьми: положишь на костёр одно длинное бревно, сверху на него ещё одно, а чтобы не скатывалось, вобьёшь по краям пару кольев — и огонь по брёвнам всю ночь играет, жар держит. Ляжешь спать рядом, вот под таким экраном — кивает на полиэтилен — и в снегу проспешь до утра, не замёрзнешь. Костёр — штука такая, для всякой жизни сподручная. Вот нам сейчас что нужно? Тепло и чай горячий. Для того так у нас костёр нынче и устроен. Ночевать бы собрались — нодью изладили. А завяжется в компании долгий душевный разговор, завели бы костёр «звёздочку», по-тунгусски сложили бы поленья по кругу концами в одну центральную точку, где огонь бы развели — и сиди хоть до утра, пододвигая в поленья со всех сторон в центр по мере их прогорания. Очень экономный костёр, человеческий, тёплый. Костёр, он ведь на жизнь нашу похожий — как ты её

устроишь, так и гореть будешь: ровным пламенем, ярким огнём с искрой или, наоборот, без тепла, а с одним чадным дымом...

Лайка Белка поднимает укрытую хвостом голову, настораживается, вскакивает на упругие нервные ноги, лает в кедрач. Через пару минут к костру подходят Финн с бригадиром Мелешко, который Коровник.

— Здорово, Ефим, — тискает руку рыбаку короткий, плотный, ухватистый бригадир. — Хорошо, что ты тут оказался, помог, гляжу... Перемёты проверял? Как улов?

— Да какой там улов, — выпрямляется от костра Ефим Егорович. — Полведра с трёх перемётов. Дожди, вода прёт, откуда рыбе взяться?

Финн, наоборот присел, протягивает к огню татуированные руки:

— Продрог на реке, ветер прямо разыгрался. Покатайся-ка тут туда-сюда с этой вашей коровой.

— Хорош ныть, — прерывает недовольного синоптика Мелешко. — Не обижу за труды, обещал же. Давайте, показывайте, что и как.

— Да реально всё, Костя, — утверждает Ефим Егорович показания Финна. — Гляди, какой свищ на ноге. Да это бы ладно, но в желудке вон ещё какая пакость обнаружилась.

Поднимает с земли липкую от крови металлическую спицу, протягивает её бригадиру. Тот покрутил железо в заскорузлых пальцах, отбросил в сторону:

— Ладно, история понятная, — оглядывает разделанную тушу, одобритительно кивает. — Зайди сегодня, Ефим, акт подпишешь. Значит, эту поражённую свищом ногу оставляем здесь на прокорм лесной живности, другую на выбор строителям отдадим за находку и своевременный доклад. Осмотр закончен, давайте мясо паковать.

Достаёт из китайской хозяйственной сумки крафт-мешки для раскладки свежееубойной говядины...

На берегу, дотавив в две ходки совхозное мясо и разложив его по лодкам Коровника и Ефима Егоровича, мужики курят на дорожку. К ним присоединяется уложивший честно заработанную коровью ногу в свою «казанку» Финн, спрашивает у бригадира:

— Солярки пару бочек возьмёшь?

— Нет. Бензина взял бы.

— Я возьму бочку, — включается в разговор Ефим Егорович.

— Откуда у тебя, интересно, бензин с соляrkой, что ты ими так смело распоряжаешься? — с неожиданным для себя вызовом интересуюсь у Финна. Мужики остолбенело замирают, потом все втроём хохочут.

— Извини, начальник, с тобой не посоветовался! — веселится Вовка, местные не устаивают юношу со взором горящим в моём лице вообще никаким ответом.

Селяне садятся в лодки, заводят моторы и аккуратно едут сквозь высокие валы обратно в деревню Лес. Финн с пятого раза запускает движок, неожиданно предлагает:

— Граф, хочешь попробовать на моторе через Обь? — как будто на слабо берёт или, наоборот, извиняется за давешнее. — Я покажу, чего и как. Ну, чтоб в другой раз проще было.

— Давай, — мир опять подступает с ножом к горлу, требуя доказательств моей самостоятельности и взрослости.

Меняемся в лодке местами, я охватываю ладонью румпель «Вихря». Ничего, справлюсь. Чай, не костёр в лесу разводить, тут наука попроще будет.

Глава 3. Капитализм с доставкой на дом

Дверь в избу распахивается, довольный Финн швыряет мне через всю кухню связку ключей.

— Готово, начальник! «Шишигу» заправили, теперь мы мухой туда-обратно. Не скучайте, студенты, готовьтесь к празднику.

Захлопывает за собой дверь, за окном ГАЗ-66 утробно урчит, разворачивается и катит в неурочный выходной день к утверждённому за нашей бригадой строительному объекту.

Потому что, если кто чего кому обещает, то слово держать обязан. Уж если мы пообещали Бракоше бочку соляры, то хоть расшибись, а обещание сдержать должны. Так Финн доходчиво довёл до меня простую жизненную истину, убеждая дать ключи от сарая, чтобы заправить машину, на которой они с Роботом собрались доставить со стройки солярку Ефиму Егоровичу, он же Браконьер или, для краткости, Бракоша, по определению Вовки, не умеющего звать людей по скучным паспортным данным, .

А я и дал, мне-то чего до этой солярки, я лицо не материально ответственное. Пусть делают что хотят.

Грибы мы с Витькой уже почистили от мусора, порезали. Потом Сорока сказал, что их нужно вымочить с полчасика в холодной воде, потому что у него мать всегда так делает. Я не помнил, чтобы моя матушка следовала этому рецепту, но согласился: не настолько я начальник, чтобы мешать людям жить как они хотят.

Сидим, молчим, уставившись в окно, где после утренней непогоды ветер разметал дождевые тучи, а по небу пятнами потянулась весёлая синь. И тут солнечные лучи отразились от ветрового стекла серого УАЗа-«буханки», проехавшего мимо нашей избы в направлении почты — центрального объекта власти в этом забытым богом пристанском посёлке. Правильно, сегодня воскресенье, а значит, из райцентра приехал Андрюха-коммерс соблазнять народ диковинным заморским товаром.

— Пошли глянем? — предлагает Сорока. — Всё равно делать нечего.

— А толку? Денег у меня ни копейки до аванса, который Эдуард обещал из города привезти.

— Мне дядька две тыщи потихоньку сунул перед отъездом. Прокутим.

— Чего ты там прокутишь? Даже на «рояль» не хватит. Ну, пошли.

На главной деревенской площади торговец из Северолесска уже открыл обе створки задней дверцы своего УАЗа, распахнув местному населению перспективы новой свободной России в экономическом смысле. Перспективы включают в себя водку «Rasputin» и «Довгань», спирт «Royal», пиво «Pilsner», «кока-колу», «пепси-колу» и «спрайт», шоколадные батончики «Марс» и «Сникрес», а также вполне себе неэкзотические муку, хлеб, макароны, сахар и соль.

Из всего выложенного на самодельном раскладном прилавке капиталистического разнообразия Витьку интересует только итальянский ликёр «Amaretto», который, по слухам, производится большей частью в польских

Познани и Лодзи, но кто бы этим нелепым слухам верил. Ценника на красивой квадратной бутылке не наблюдается.

Андрюха-коммерс стоит, картинно опёршись на дверцу и независимо смотрит вдоль единственной деревенской улицы из-под козырька синей бейсболки с фирменной аббревиатурой «NY», лениво отвечая на вопросы бригадира Мелешко о новостях из райцентра. По улице к месту розничной торговли потихоньку подтягиваются пейзажи и пейзажки, осматривают на почтительном расстоянии чудесное благолепие, известное им большей частью из телевизионной рекламы, где с чудовищным немецким акцентом предлагает водку своего имени страшно-бородатый Григорий Распутин, а сексуальные красавицы, опуская в бассейн килограммы растворимого порошка «Инвайт», поют сладкоголосыми сиренами: «Просто добавь воды».

Среди молчаливого населения моё внимание привлекает юная светловолосая красавица в синих спортивных штанах, заправленных в резиновые сапоги и в наброшенной на плечи телогрейке, о чём-то перешёптывающаяся с высокой, тёмнолицей, как на старинных иконах, женщиной, похожей, матерью. Девушка искоса бросает взгляды то на предлагаемый товар, то на нас с Витькой, чуть улыбаясь. И можно даже разглядеть нежный пушок на её розоватых щеках. Хорошая, сразу видно.

Бригадир Мелешко, разузнав всё что нужно, уходит сквозь односельчан от машины, а торговец наконец обращает внимание на потенциальных покупателей:

— Ну что смотрим, граждане? Подходим, не стесняемся, не в музей.

Валерьевна, ты муку в прошлый раз спрашивала — вот тебе мука. Спирт «Рояль» по городской цене, Семёныч, в сто раз лучше самогона Веркиного — бери, не прогадаешь. Приобщайтесь к дарам цивилизации, пока они к вам прямо к дому доставляются.

И старуха Валерьевна покупает пять килограммов муки, и Семёныч, матерясь на цены, правительство и масонов, берёт две бутылки «Рояля», и два пацана тратят мамкины деньги на «пепси-колу» и «сникерс». А больше покупателей и нет, местное население начинает понемногу завершать воскресное развлечение, расходясь обратно к хозяйству, скотине и телевизору. Только иконописная женщина с её светловолосой симпатичной дочкой ждут чего-то, не уходят.

Тогда коммерсант обращает внимание на нас с Сорокой:

— Что, студенты, соскучились по городской жизни? Ну так, вот она вам, с доставкой на дом. Пиво прямо со склада, вчера из Зареченска привезли. Водка честная, не палёная, зуб даю. Ну, чего стоим, как неродные?

Витька откашливается для солидности голоса, кивает на «Амаретто»:

— Почём?

— Толковый выбор, мой юный друг, две с половиной, — оглядывает опустевшую площадь, где у машины остались только мы да две селянки, машет рукой. — Ладно, только для тебя, две двести. Бери — и я поехал.

Витька вынимает из кармана купюры, пересчитывает в ладони мелочь, с надеждой смотрит на меня. Яжимаю плечами: сразу же предупредил. Сорока вздыхает, кладёт деньги обратно:

— У меня только две тыщи и сорок рублей.

— Извини, брат, в убыток себе торговать не буду.

Торговец начинает снимать нераспроданный товар с самодельных деревянных полок, складывая его внутрь «буханки».

— Погодь, Андрюха, — неожиданно останавливает торговца мать хорошей девушки. — Я пацанам добавлю на флакон. А они нас угостят красивым напитком. Верно я говорю, городские?

Для доходчивости старшая пару раз связывает свои слова неопределённым артиклем «блядь».

— Верно, — ошарашенно кивает Витька, а коммерс удовлетворённо забирает у доброй самаритянки недостающие двести рублей, принимает остальную сумму от Сороки, выдаёт ему бутылку ликёра и больше не обращает внимания на обезденежную публику.

А я вдруг понимаю, что добрая самаритянка крепко пьяна и, похоже, далеко не первый день.

В избе Людмила — так представилась мать милой девушки, когда мы все вчетвером шли вслед за уезжающим обратно в Северолесск «уазиком» Андрюхи-коммерса в сторону нашего здешнего жилища, — по-хозяйски огляделась, сняла с деревянной настенной полки четыре стакана, поставила их на стол, выжидающе посмотрела на Витьку. Тот вынул из кармана куртки «Амаретто», начал суетливо открывать бутылку.

— Это вкусное вино? — спрашивает у меня симпатичная Алла, дочь Людмилы, с интересом наблюдая за разливающим по стаканам ликёр Сорокой.

— Не знаю, я его ещё и не пробовал никогда. А ты, Витька?

— Сто раз, — авторитетно врёт Сорокин. — Отличное, со вкусом настоящей Италии.

— А вы были в Италии? — восхищается Алла.

— Я лично не был, но у моего одноклассника отец в Милане три месяца кантовался в командировке, рассказывал и про амаретто, и про лимончелло, и про граппу. Так что, я практически эксперт по этому делу.

— Давайте, мальчишки, за знакомство, — Людмила поднимает наполненный густым напитком стакан на уровень своего строгого тёмного лица. — Будьте здоровы и счастливы.

Чокается со всеми, чуть отпивает из стакана, отстраняет его, строго всматривается в красновато-коричневый цвет жидкости, затем опрокидывает итальянский алкоголь внутрь без излишнего дамского жеманства. Собственно, все опрокидывают, кроме Аллы, которая скромно ставит обратно на стол едва пригубленный импортный ликёр.

— Ну что, как вам? — на правах хозяина и эксперта интересуется Витёк.

— Нормально, — отвечаю кратко, с присущей серьёзному мужчине солидностью.

— Сладкое какое, — удивляется Людмила. — Но вроде крепкое. Сколько там оборотов-то, глянь, Витя? Вы же в своих институтах иностранные языки учите, вот и пригодится когда-нибудь.

Сорока внимательно изучает бутылку, даёт экспертный ответ:

— Двадцать восемь градусов. Это же ликёр, он крепче тридцати не бывает.

— Ну, пусть, — повеселевшая Людмила поднимает крышку над стоящей тут же на столе кастрюлей. — А это что тут у вас, грибы? Чего они в воде делают?

— Вымачиваем, сейчас жарить будем, — отвечает Витька. — С утра на Старый остров сгоняли на моторе, набрали вот.

Как будто он сгонял под проливным дождём по страшным обским ветреным валам.

— Кто же подберёзовики вымачивает? — удивляется Людмила. — Они вам

осиновые грузди, что ли? Их хоть в лесу сырые ешь, обабки эти, или там на пруте на костре сразу пожарь. Раскиснут, блядь, в воде только... Алка, займись, всё закуска какая-никакая будет, а то сидим тут, как мешковские.

Людмила вдруг громко хохочет с приятным призывом.

— Чего тут смешного? — я не понимаю, Сорока тоже в удивлении.

— Так это же мы Мешковы, — улыбается и Алла. — Отцова фамилия, у них вся родня такая: было бы что выпить, а закуску, поди, бог пошлёт. А коль не пошлёт, так не больно и хотелось. Ни самим поесть, ни гостей угостить — так уж у них всегда в заводе было. Вот и нам фамилия досталась.

— А сам отец где? — для поддержания разговора спрашивает Витька.

— Бес его знает, — отмахивается Мешкова-старшая. — Бросил нас, когда Алке едва три года исполнилось. Вначале в Северолесск подался, потом от алиментов в Зареченск сбежал. Там, говорят, в тюрьму сел, а что потом с ним и как, нам неизвестно да и похер. Верно, доча?.. Иди к столу, чокнемся с городскими интересными за родителей.

Алла отходит от плиты, прикрутив кран на газовом баллоне до небольшого синего огненного кольца под чугунной сковородкой с грибами. Её раскрасневшееся в натопленной избе лицо кажется мне ещё прекраснее, чем на улице. И даже вытертая на локтях старая мохеровая кофта неопределённого цвета, заправленная в спортивные с начёсом штаны, никак это впечатление не нивелируют. Впрочем, так кажется не только мне.

Сорокин, безусловно, тоже не остался равнодушен к внешней броской девичьей красоте, удивительной в этом забытом богом уголке северной тайги. Но отдаёт должное и познанию внутреннего мира селянки.

— Почему вы не пьёте «Амаретто», Алла? — церемонно интересуется Витёк после второго тоста, заметив, что стакан девушки по-прежнему наполовину полон. — Вам не нравится этот тонкий миндальный привкус?

Сорока аккуратно придвигает табуретку ближе к бедру гостьи.

— Оно котлетами пахнет, — Алла встаёт, идёт к плите добавлять в сковороду к обжаренным обабкам порезанный полукольцами лук.

— Какими котлетами, почему котлетами?! — возмущается Витька, нюхает свой пустой стакан, наливает себе и нам с Людмилой по новой дозе ликёра. —

Выдумают тоже. В общем, за присутствующих здесь дам.

Встаёт, чокается, подтягивает локоть руки с зажатым стаканом на уровень плеча. Мне приходится следовать его ритуальному примеру, но ещё недавно легендарное «Амаретто» вдруг отказывается заходить в организм. Оно реально пахнет котлетами, абсолютно реально.

— Ты чего? — поражается Витька на чуть пригубленный и отставленный мною ликёр. — Тоже какие-то котлеты учуял?

— Ну, сам внюхайся как следует.

— Чего мне внюхиваться, зачем мне внюхиваться? — психует Сорока. — Да ну вас всех совсем!

— Не хотят — и не надо, — философски замечает Людмила. — Нам больше достанется. А котлетами и правда пахнет.

Витёк резко встаёт из-за стола, выходит из дома, звучно хлопнув дверью. Алла ставит сковородку с грибами в центр стола, покрытого клеёнчатой скатертью, на обрезок доски, служащий подставкой под горячую кухонную утварь.

— Схожу позову его, — Алла идёт искать во двор моего психа.

Мать её наливает «Амаретто» себе, вопросительно показывает бутылку мне, я отрицательно мотаю головой. Людмила оценивает на глаз остатки ликёра в

импортном сосуде, констатирует:

— На раз ещё хватит, — выпивает, цепляет ложкой со сковороды жареные грибы, дует на них, закусывает. — А где остальные ваши, кто постарше?

— Так за соляжкой поехали на нефтебазу. Ефиму Егоровичу бочку обещали продать.

— С чего это такой счастье Ефиму? — лениво интересуется Людмила.

Вкратце пересказываю всю утреннюю историю с грибами, коровой и бригадиром. Получается действительно похоже на загадку про волка, козу и капусту.

— Так, значит, праздник у вас сегодня намечен с мясом и самогонкой? — радостно удостоверяется мать Аллы. — Самогон у Ефима лучший в деревне, хоть у кого спроси. Нас-то пригласите, Петя?

Неожиданно ощущаю ладонь Людмилы, которая движется по моему бедру от колена всё выше и выше.

— А как..., — голос неожиданно срывается в тонкий фальцет, откашливаюсь, повторяю с веской мужской солидностью. — А как же, будем только рады.

Губы Мешковой-старшей уже касаются моего пунцового уха, выдыхают:

— И я буду рада... Ох ты, какая у нас тут отметка — не пятёрка, не тройка, а твёрдый какой кол...

Распахивается дверь, Витька объявляет:

— Наши подкатывают! — осекается, остолбенело наблюдая, как Людмила неторопливо отодвигается от меня и разливает остатки ликёра в два стакана. Из-за спины Сороки его обходит Алла, ничуть ничему не удивлённая, садится на табуретку рядом с матерью. Та кивает Витьку на наполненный стакан:

— Будешь?

— Буду! — Сорокин подходит к столу и ожесточённо вливает в себя остатки капиталистической алкогольной роскоши.

После третьей за знакомство Финн закручивает пластиковую литровую бутылку самогона и убирает её в холодильник ещё к двум таким же, только непочатым, объявляет:

— Хватит пока, будем мясо готовить. Разделаешь топором, Махмуд? А я тут потом пожарю.

Роберт кивает блестящей от пота в натопленной избе лысиной, с усилием поднимает коровью ногу, которую затащил на кухню хвалившийся гостям сегодняшней нежданной добычей Финн, и утаскивает её во двор. Вовка достаёт вилкой из трёхлитровой банки солёный огурец, откусывает с хрустом, продолжает рассказ:

— А у Бракоши там, слышь, этих бутылок полный подпол — мне сверху видно было. Ну, на трёх литровых сторговались, да он мне ещё банку эту огурцов дал и сала солёного шмат с килограмм, наверное. Ну и нормально, я считаю. А ты как считаешь, начальник?

Вовка смотрит на меня внимательно-ожидаяще, демонстрируя женской половине начинающего брать разгон застолья всё своё уважение к старшему по бараку, в смысле, по избе. И не понять, в издёвку или просто по доброте душевной.

— Не знаю, мне пофиг, — поднадоела мне уже роль начальника шабашки, которую упорно навязывает Финн.

— Он бы и четыре дал, — равнодушно бросает Робот, вернувшийся с порубленной говяжьей ногой, кивает Вовке на мясо. — Жарь бери, жрать уже

охота.

— Так чего вам самим-то копошиться? — вмешивается Людмила. — Вы — мужики, добытчики, а наше бабье дело из добычи еду излаживать. Сидите, отдыхайте.

Мать Аллы идёт к плите, стягивая через голову свитер грубой вязки: под красной футболкой с изображением Чебурашки колыхаются груди, каждая размером с дыню-«колхозницу». Я уже чувствовал их мягкость, когда Людмила на мне отметки проверяла — жаль, на вкус попробовать не успел.

Да и вряд ли бы стал, поскольку это была бы измена Леночке Измайловой, с которой мы уже три раза целовались во время нынешней весенней сессии, и каждая ночь у меня начиналась с забытой в дневной суете тоски по её полным губам, тонким рукам и узкому заду, обтянутому стрейчами «Гесс».

На каникулы Лена уехала в свой родной Бийск, и у меня даже была мысль съездить к ней на пару-тройку дней, поболтать по этому неизвестному мне алтайскому городку, посмотреть, не вертятся ли вокруг неё какие-нибудь смазливые одноклассники, ну и, чем чёрт не шутит, может быть, как-нибудь где-нибудь когда-нибудь оказаться в одной постели. Дальше фантазию нужно было срочно укорачивать, иначе в таком угаре можно провертеться до утра, а рабочую смену никто не отменял.

Собственно, Бийск был отложен до лучших времён в то самое июньское утро, когда мать разбудила меня сообщением, что «дружок твой Витька зачем-то в такую рань припёрся». В коридоре переминался с ноги на ногу Сорока, сразу запросившийся в туалет, а потом вытащивший меня на лестничную площадку, где и сообщил, что дядя его Эдуард предложил подкалымить на севере и согласился дать заработать ещё паре Витькиных дружков-приятелей. Потому мне сейчас нужно срочно ставить в известность родителей, чтобы к двенадцати дня быть в речпорту, откуда мы отправимся вместе с Эдуардом в деревню Лес, что в отдалённом Северолесском районе.

Что там нам нужно будет делать, Сорока пока толком не понял, но денег поднять точно можно будет. Так что я должен собраться живой ногой, а Витьке ещё нужно с аналогичным предложением добежать до общаги, чтобы оповестить Юрку Коломийца, который тоже искал подработку на каникулах. Но в означенный срок в речпорту Сорокин сообщил мне, что Коломиец уже устроился заливать бетоном фундамент строящегося дома в Грэсовском посёлке, потому ехать чёрт-те куда отказался. Представил меня прорабу Эдуарду, и через полчаса скоростной «метеор» нёс нас на своих подводных крыльях шабашить на строительстве Северолесской нефтебазы.

И вот стою я здесь, матёрый северный шабашник, на моторке сегодня через Обь сгонявший, корову живую зарезавший, ликёра «Амаретто» отпробовавший, сиськи взрослой женщины плечом ощутивший. Стою и наблюдаю, как у водителя Махмуда взгляд концентрируется на круглом заде взрослой селянки, сдувающей светлую прядь со лба, взмокшего от жара плиты и давно прогоревшей, но долго дающей тепло русской печки. А Людмила поддерживает шуточный разговор со стоящим рядом Финном, отталкивая его локтем, когда он пытается прихватить её за талию, и изредка бросает улыбающийся взор на сидящего за столом в одной майке жилистого татарина.

А ещё наблюдаю, как Витька что-то шепчет на ухо сидящей с ним рядом за столом очень симпатичной мне девушке Алле, которую я тоже хочу поцеловать, но никогда этого не сделаю, потому что у меня есть Лена Измайлова, которая

сейчас в Бийске, и неизвестно ещё, нет ли у неё там какого-нибудь заветного старого друга, с которым они прямо сейчас целуются или ещё чего хуже. Но, значит, и мне тогда можно с этой Аллой Мешковой? Или нет?

Смотрю на себя в зеркало: вижу худого патлатого брюнета не сказать чтобы яркой наружности, почему-то потного, сердитого и, пожалуй что, уже слегка пьяного. Хочу на свежий воздух — душно в избе, да и голову хорошо бы проветрить.

Тут как раз подходит Финн, хлопает по плечу, протягивает недопитую бутылку самогона, где болтается половина — считай, пол-литра:

— Чего вам, молодёжи, здесь торчать, начальник? Мясо только через час готово будет, а пока погуляйте по деревне, развейтесь. Вот, первача возьмите, чтобы веселее было. Ну?

— Пойдём, Вить? — интересуюсь у Сорокина.

— Ты как, Алла? — спрашивает он в свою очередь у милой девушки.

— А чего здесь делать, — соглашается милая девушка, встаёт, потягивается, снимает с крючка у двери телогрейку. — Пойдём погуляем.

— Погодь, я вам сала пластану закусить, — сварной суёт мне в руки бутылку, нарезает вынутое из холодильника сало, кладёт ломти на кусок хлеба, сверху накрывает другим. — Держи. Через час, значит, к мясу подходите, раньше не нужно. Договорились?

Киваю, выхожу на крыльцо, сую Сорокину гамбургер от Финна, запихиваю во внутренний карман куртки самогон, задаюсь вопросом:

— Ну что, куда пойдём?

— Вперёд, к светлому будущему, начальник, к светлому будущему.

— Ты-то хоть не идиотничай, — лениво упрекаю Витьку.

Милая девушка Алла загадочно и нежно улыбается, и мы идём вперёд, навстречу стоящему в зените августовскому солнцу. «И над степью зловещей ворон пусть не кружит, мы ведь целую вечность собираемся жить...», — басом затягивает Сорока, тоже понимает кинематографичность пейзажа. Алла хохочет. Хорошая.

Глава 4. Территория как она есть

На Оби при ясном небе всю гуляет ветер. Пенные барашки волн уверенно режет «метеор», спешащий вверх по реке. Ширь, простор, красота.

— Кричановский, этот у нас не останавливается, — сообщает Алла про скоростное пассажирское судно.

— Далеко от вас Кричаново? — поддерживаю малозначительный разговор.

— Семьдесят четыре километра, если по трассе через Северолесск, — отвечает.

— А по реке кто бы эти километры считал. Завтра снизу Волчихинская «ракета» пристанет, а потом только в четверг Стрижевской «метеор» на Зареченск пойдёт.

— А наоборот из города когда приходят? — это уже Витька встречается в контакт с чудесной девушкой Аллой Мешковой.

— Сверху-то? Сверху опять же завтра «метеор» на Стрижевой, а потом только в пятницу «заря» будет — эта только до нас идёт, потом обратно. Пароходы туристические ещё иногда пристают на дозаправку, но это редко, у нас на них и расписания нет. Но пассажиров берут, если найдутся желающие десять часов до Зареченска барахтаться, а вниз — нет, никто на такие не садится.

— Ну и ладно, — подводит итог изучению повадок здешнего речного транспорта Витька. — Давайте повторим, что ли?

Мы сидим под двумя раскидистыми ивами на скамейке за столом на обзорной площадке над высоким крутояром, падающим в Обь с высоты трёхэтажного дома. Рядом в культурно вырытой мусорной яме валяются зелёные пузатые бутылки из-под спирта «рояль» вперемешку с битым стеклом и жестяными банками из-под импортных газировок. Место высокой культуры и отдыха, сразу видно.

Сорока наполняет самогоном попутно захваченные Аллой из их с Людмилой дома три настоящие хрустальные рюмки, режет на дольки свежий огурец тоже с мешковского огорода, пододвигает ближе бутерброды с салом. Ему бы в официанты податься, а не в самостоятельный бизнес, о котором Витька грезит вот уже второй год. Алла красиво закусывает долькой огурца, замечает на погоду:

— Развиднелось. Хорошо-то как после дождей.

— Да уж, — соглашаюсь я и сдержанно сообщаю. — Здорово промок, когда моторкой рулил, с острова возвращаясь. Ветер волну на Оби утром разогнал приличную: и сверху поливало, и водой с носа всего окатывало.

Но Сорокин не даёт развить тему мужественного покорения таёжных пространств:

— Интересно, чего они нас из избы выставили? Нет, тут хорошо и погода наладилась, но ведь выставили же, нет?

— Известно чего, — равнодушно отвечает симпатичная Алла, но объяснять очевидное не желает.

— Что тебе известно? — не понимает Витька.

— Дурак ты какой-то, хоть и городской, — таёжная красавица притягивает голову Сороки к себе, что-то шепчет ему на ухо, на меня не смотрит.

— Да ладно?! — у Витьки отвисает челюсть и наливаются краской щёки под бородой. — Чо, прямо вот так вот?

Алла пожимает плечами, а я опять ощущаю дурацкую неловкость, как утром, когда мужики у моторок демонстративно не восприняли меня всерьёз. Так там хоть взрослые мужики были, а тут эти. Да и не больно нужно мне знать их секрет, я и сам уже примерно себе догадался, но всё равно обидно, когда ты вдруг пустое место. Ни с того, ни с сего.

Как тот бестолковый бич, впервые попавший на севера и едущий на тракторных санях в пугающую полярную неизвестность. Наблюдающий за уходящим назад горизонтом теряющуюся прошлую нелепую жизнь и ещё не подозревающий, что впереди его ждёт непомерно тяжёлая, но важная работа, которая неизбежно изменит всё: жизненную философию, принципы, будущее. И ты станешь удобным для себя правильным человеком, познаешь радость хорошо сделанного дела так, чтобы можно было крикнуть: «А ведь могём, начальник! Ей-богу, могём!» И начальник плеснёт тебе в кружку заслуженную долю спирта, и выпьет с тобою на равных.

И впереди будут новые непокорённые ещё пространства, и новая настоящая мужская работа, и настоящая дружба, и настоящая любовь. И чтобы в финале, ну вот как сейчас, можно было спросить человечество в целом, и Витьку с Аллой, в частности: «А где были, чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой?»

Потому что моей главной книгой этого странного, в чём-то угрюмого, в чём-то очень свежего 1993-го года остаётся роман Олега Куваева «Территория», зачем-то подсунутый после зимней сессии одnogруппником Валеркой Козловым, который родом из Магадана, где давно скончавшийся писатель почитается на

уровне рок-звезды, типа Бутусова или Макаревича. А по мне, так он ещё больше. Потому что книга меня буквально потрясла, и когда Витька предложил работу на строительстве нефтебазы, никакие родители и даже никакая Леночка Измайлова не смогли бы меня удержать от настоящей романтики покорения Севера. Никто, правда, и не удерживал. Нафиг я кому сдался.

— Алла, вы читали книгу «Территория»? — отвлекая своим вопросом девушку от гадания по Витькиной ладони.

— Нет, — отвечает Алла и спрашивает почему-то Сорокина. — А там про любовь?

— Там про идиотов, которые дают стране угля где-то за Полярным кругом. Преодолевают себя, и всё такое. Я не дочитал, может, и есть там про любовь. А, Петя?

— Всё там есть, — скучные они, Витька с Аллой, им не до романтики, по крайней мере, не до той честной, трудной, настоящей, что у Куваева. — Ладно, лучше расскажите, Алла, откуда вы сегодня здесь взялись? Второй месяц живём в Лесу, а вас ни разу не встречали.

— Так в Северолесске торчали с мамкой, там кооператор один набрал с района людей корзины плести. Две недели обучения, за которые зарплаты не полагается, потом ещё месяц работали, пока сырьё было. А сейчас прут уже сухой пошёл, ломкий — теперь только следующей весной производство опять откроется. Ну да не беда, скоро шишка пойдёт, потом клюква — осенью работы хватает. Зимой вот никакого приработка не найдёшь: как школу начальную закрыли в прошлом году, так и перебиваемся с хлеба на квас до весны.

— А школа тут причём? — я не понимаю.

— Так мамка учительницей же в ней была: когда пять, а когда и десять ребятшек в деревне набиралось на учебный год. Вот и учила, она же педучилище окончила в Северолесске. Я тоже туда хотела после восьмого класса, но мамка запретила: говорит, лучше хвосты коровам крутить, чем нищенствовать на учительский заработок. Тогда у неё хоть такой был, а сейчас вообще никакого. Вот, на сезонных работах приходится крутиться.

— В город тебе нужно перебираться, — авторитетно заявляет Сорока, разливая по рюмкам самогон Ефима Егоровича. — Там сейчас все горизонты нараспашку: и работу нормальную найдёшь, и оденешься модно, и жениха перспективного прихватишь в каком-нибудь клубе. Чего тебе здесь, поехали с нами в Зареченск, когда шабашку закончим. С нами не пропадёшь, правда, Лазарь?

Пожимаю плечами: нет у меня никакой уверенности в завтрашнем дне светлого капиталистического будущего, не понимаю, зачем нужны историки в мире золотых цепей и малиновых пиджаков. Чисто по инерции продолжаю курс в университете, да чтобы в армию не загреметь, если отчислюсь. Как я могу обещать живому человеку, что у него гарантированно наладится жизнь в городе? Тут самому бы не пропасть...

На север бы рвануть, подальше от этих городов, поближе к настоящей правильной жизни. Чтобы были простые символы веры: работа, дружба, удача. Туда, где всё ясно и просто, как у Куваева. Впрочем, у Сорокина всё тоже ясно и просто:

— Лаборанткой в лабораторию моей матушки тебя устрою. Зарплата маленькая, зато общежитие, это на первое время. А ближе к новому году на рынок пойдёшь торговать, приподнимешься, комнату снимешь. Ну и дальше так потихонечку жизнь начнёт налаживаться. Просто же всё.

— Какой рынок, чем торговать, кто меня туда с улицы пустит?
Это она зря сейчас, это напрасно. Теперь жди от Витьки лекцию на весь академический час про то, что человеку не нужно ждать милостей от природы, он сам должен эту самую милость брать и держать за горло мёртвой хваткой.

Бутыль уже опустела, а Сорокин всё продолжает ходить перед нами с Аллой, размахивая руками, периодически дёргая отросшую бороду и упирая в нас укоризненный перст правой руки. Он уже изложил краткий общий курс введения в современное российское буржуинство, и теперь, как выросший из штанов на лямках Мальчиш-плохиш, разъясняет, что и как нужно делать в текущем экономическом моменте, чтобы не остаться за бортом истории:

— Я же не Петька, чтобы переться чёрт знает куда за северной романтикой! Я здесь не просто деньги зарабатываю на стройке этой долбанной никому не нужной нефтебазы — я стартовый капитал формирую. Теперь смотри: вернусь в город, забью на недельку на учёбу, смотаюсь в Турцию (загранпаспорт ещё зимой выправил), привезу десять шуб и ещё там мелочёвки всякой типа джинсов, сдам оптом Рубену на Тихомировском рынке, отобью затраты с двойным выхлопом. На зимних каникулах привезу Рубену вдвое больше, и уже получится открыть свой ларёк на той же Тихомирке, тебя туда продавщицей возьму. До весны ещё одну ходку сделаю — и всё, торговля налажена. Найму челноков-первоходов, да вот хоть Лазаря (Пойдешь, Петя, на меня работать? Ну, как знаешь.) Они меня товаром обеспечат с хорошей, замечу, для себя выгодой. И через пару лет открою магазин на Степной: красивый магазин, стильный, с модной вывеской на английском языке, не знаю ещё какой. Ну, пусть будет «The Incest»... Чо ты ржёшь, чо ты ржёшь? Ладно, пусть не «Инцест», пусть, не знаю «The Spectrum» какой-нибудь — так пойдёт, прилично будет? Ну и вот. Ты, Алла, будешь у меня менеджером, управлять магазином, а я стану дальше бизнес развивать. Так всё и устроится. Если уж я чего распланировал, так у меня и выйдет. В этой стране сейчас нужно крутиться, на коммунизм вся надежда вышла. Ну что, готова рвануть в новый прекрасный мир?

Алла смеётся, отрицательно качает головой. А я вдруг опять ляпаю что-то несурзное:

— «В этой», значит, стране, Витя. Не в нашей, а в этой. Ну, как знаешь: хочешь — отделий себя от страны, отряхивай её прах со своих ног. А я так не могу. Это моя страна, понимаешь, моя! Как Шевчук поёт: «Пусть кричат «уродина!» А она нам нравится, хоть и не красавица». Вот он понимает, а ты нет. У тебя же затмение мозга сейчас на этих деньгах, красивой жизни, безграничной свободе. Я так не могу и не буду. Не слушайте его, Алла. Пропадёте с ним.

— Утипутички, проповедь на свежем воздухе, — Сорока ржёт, Алла тоже улыбается. — Так там у Шевчука дальше было: «К сволочи доверчива, ну а к нам тра-ля-ля-ля-ля-ля». Вот тебе эта Родина тра-ля-ля в уши и надула. И в мозг. Не хочешь ко мне в челноки — как хочешь. А мы вот с Аллой замутим дело, да? Но в гости тебя на свадьбу пригласим, когда ты уже замучаешься своим пятиклассникам вдалбливать про Пунические войны за учительскую зарплату. Вон, Алла знает всё про эту зарплату...

— А у меня уже есть жених, — спокойно говорит милая девушка. — Вася Тумбарцев, в армии сейчас. Год ему служить осталось, следующей осенью вернётся. На дизелиста выучился, нужная в селе специальность.

— Ну и что? — горячится Витька. — Ты за этот год в городе уже крепко

устроишься, ну и выписывай потом к себе своего Васю после армии, я же не против. Если ещё у тебя такое желание останется. Работа у тебя уже будет, это раз, квартира съёмная, это два...

— Отойду ненадолго, — устал я от Сорокинской политекономии, да и мочевого пузыря давно требует к себе внимания.

— Вон там по сухому ручью распадок вниз, — указывает направление Алла. Хорошая, всё понимает.

Снизу только неразборчивое Витькино бормотание доносится да редкий смех девушки. Посидеть на стелющимся по земле стволу ивы, отдохнуть от этого суетного дня, который уже на вечер сворачивает.

Куда-то жизнь вывернет в этом новом непонятном времени, когда вдруг рухнули все запреты и идеалы, зато вместо талонов на сахар и водку, за которые бились в очередях ещё три года назад, в магазинах тебе на выбор хоть пиво чешское, хоть ликёр итальянский, хоть гамбургер американский. Иномарок в городе скоро больше будет, чем новомодных «лад-девяток». А стипендия, считай, сдохла — что можно купить сегодня на три с половиной тысячи? На сигареты не хватит.

Это Витька сюда поехал стартовый капитал для Турции зарабатывать: у него родители нормально перестроились ещё при Горбачёве, теперь не бедствуют. А мне на этот калым продержаться как-то нужно будет до нового года, да вот хоть штруксы новые купить, в которых на занятия ходить не стыдно.

Отец с матерью копейки получают на своём заводе измерительной аппаратуры, да и те инфляция сжирает вдвое за месяц. На дачный огород нынче ставку сделали, чтобы, значит, хоть картошкой с капустой себя на зиму обеспечить.

Плюс соленья какие-то накрутят. А викторию с малиной мать каждую субботу продаёт у супермаркета «Ветерок», бывшего угрибищного овощного на трамвайной остановке. Выручку в жестяную коробку от импортного жасминового чая складывает, в нижнем ящике комода прячет, думает, я не знаю где.

А я знаю, но ни рубля оттуда никогда, конечно, не возьму. Наоборот, двадцать пять тысяч, которые пообещал Эдуард Васильевич за сезон, отдам матери, только на джинсы себе возьму сколько нужно. Тоже хоть раз в жизни кормильцем себя почувствую, а не иждивенцем.

Может, и правда с Сорокой в Турцию зачелночить? Уважаемая профессия нынче получилась, не какой-нибудь тебе инженер или историк.

Ведь, по совести, не люблю я ни в архивах сидеть, ни в школах преподавать.

Отец сказал: «Да просто иди учись на кого угодно. Важна не конечная профессия, а сам процесс. Нужно повариться в студенческой среде, среди нормальных сверстников — музыку модную слушать, за девушками учиться ухаживать, по ночам зубрить билеты к экзаменам. Так характер формируется, жизненные принципы устаканиваются. Среда в юности — главный питательный бульон для формирования личности. Так что лучше университет, чем армия, это уж как пить дать».

Не знаю, отец с матерью свой институт радиоэлектроники оканчивали в семидесятых, может, так у них там и было: СТЭМ, Led Zeppelin на катушечных магнитофонах, байдарочные походы, яростные, прости господи, стройотряды, научный коммунизм и прочая романтика, формирующая светлый образ советского студента. И Куваев там же с его «Территорией»: делай или умри! Ничего не осталось оттуда. Ни-че-го. Не работают родительские лекала в

сегодняшней действительности: другое время, другие идеалы, другие перспективы. Они прожили лишнюю жизнь, никак не влияющую на мою теперешнюю. И как-то из всего этого нужно выбрать свою дорогу, и прямой она не будет, это точно. Потому что дороги нынче все кривые да в колдобинах. Даже здесь на северах: у Куваева никогда бы Баклаков не продал бензин своей геологической партии налево, а я взял и продал. Вот такой я человек, не возьмут меня в светлое родительское будущее. И никого не возьмут, потому что его нет и не было никогда. Потому что впереди всё мутное, текучее, как эта обская вода, которая раскачивает лодку, блестит на солнце, убаюкивает...

— Не спи, Лазарь, замёрзнешь! — лыбится сверху Витька Сорокин, и Алла тоже улыбается. — Выбирайся, пошли уже мясо жрать, чего мы тут голодными сидим.

Мясо? Ах да, мясо, которое ещё утром было коровой. Какой же сегодня длинный день.

— Руку дай, — подняться по глинистому склону вверх не так просто, оказывается, от голода, что ли?

Пока отряхиваюсь, выбравшись из оврага, Сорокин с Аллой целуются, как потерпевшие. И к нашей избушке на шарашкиных ножках идут, держась за руки. Чисто пионеры на выгуле.

Глава 5. «Патрис Лумумба»

Робот щёлкает выключателем у двери, и свет голой электрической лампочки резко бьёт по глазам, обозначив в клубах сигаретного дыма праздничный стол с остатками жареной говядины на сковороде, грязными тарелками, бутылками самогона, жестяной консервной банкой, полной сигаретных окурков, и ломтиками подтаявшего сала на разделочной доске. Хорошо сидим, как сказал бы профессор Хансен в «Осеннем марафоне». Впрочем, не только он.

— Эх, хороший сабантуй сегодня! — Финн вытирает руки грязной тряпкой, вновь берёт гитару. — Верно, Махмуд? Так у вас, у татар, говорят?

Инструмент он высмотрел давеча у Бракоши, когда сбывал тому казённую соляру. Не поленился час назад, сходил, выпросил для придания высокой ноты праздничному дню. Но водитель только пожимает плечами, не опускаясь до обсуждения с иноверцами своих национальных традиций.

— И когда ветры тёплые в лицо подуют,
и от лени последней ты свой выронишь лом,
это значит, навек твою башку седую
осенит избавление лебединым крылом,

— надрывно хрипит под гитару Финн. Прерывается, торопливо вливает в себя самогон и продолжает со сдержанной в голосе слезой:

— Вы не врите, братишечки, о давних семьях,
вы не врите, братишечки, про утраченный юг.

Перелётные ангелы летят на север,
и тяжёлые крылья над тундрой поют.

Сварной резко глушит струны ладонью, прикуривает сигарету от спички, чуть дрожащей в пальцах артистической натуры. Людмила вся под впечатлением грустно опирается щекой на ладонь, Алла сидит, положив голову на плечо Витьки.

За окном совсем стемнело, Махмуд встаёт задёрнуть занавески, спрашивает у Финна:

— А этот твой Визбор в положняке или по бакланке чалится? — водитель отсидел двушку по молодости, может на фене.

— Да не пойми, — чешет подбородок Финн. — Парняга с Ангарской кичи муть какую-то гнал: вроде первоходом тот был при ихнем знакомстве, но вроде как и в авторитете. Сам-то я Визбора в глаза не видел, а песни у него душевные, скажи?

Роберт пожимает плечами, садится разжигать давно потухшую печь. А Людмила соглашается:

— Прямо душу вынимают.

— Спой ещё, Вовка, — просит Алла.

Финна уговаривать не надо, он любит блатняк, или, как сейчас говорят, «русский шансон» всей полнотою своей криминальной души. Романтик с большой дороги. Объявляет:

— А сейчас песня про больничку. Кто булки вялил в санатории, тот поймёт.

Финн берёт аккорд, мечтательно прищуривает глаза и медленно ведёт тюремный романс почти речитативом, но с выражением. Такой Высоцкий для бедных. В финале реально пускает скупую истерическую слезу:

— От морей и от гор

веет вечностью, веет простором.

Раз посмотришь — почувствуешь:

вечно, ребята, живем!

Не больничным от вас

ухожу я, друзья, коридором,

ухожу я, товарищи,

сказочным Млечным путём.

Утирает заросшую щетиной щёку, поясняет:

— На рывок бродяга пошёл, на последний. Не сфартило, видать... Выйду, кислорода в организм втащу.

Вовка Кейка пробирается между красиво отдыхающей на табуретках публикой, хлопает меня по плечу:

— Что, Граф, обеспечили мы сегодня с тобой народ убоинкой, да? И моторкой обратно лихо управлял. Выйдет из тебя толк по жизни, если дешевить не станешь, верно тебе говорю.

Казалось бы, что мне этот весёлый уголовник-диагност? А всё равно приятно.

Не Витьке, а мне Финн пророчит светлое будущее. А с другой стороны, у Сороки и настоящее вполне себе годное — вон какими ласковыми глазами смотрит на него милая девушка Алла Мешкова, а на меня не смотрит. Да и хрен с ней.

Из нашей с Витькой спальни выходит Махмуд с чёрным стильным флаконом сорокинского одеколона в руках, предъявляет его владельцу:

— Слышь, ты же всё равно не бреешься. Давай газанём фуфырь?

— Так самогона же на столе почти литр, Роберт, — удивляюсь я. — Куда тебе ещё?

— Не вставляет, — сокрушённо мотает бритой головой водитель. — Праздника хочется.

— Ты дурак, что ли? — возмущается Сорокин. — Это настоящий «Лагерфельд»! Ты знаешь, сколько он стоит?

— Хороший букет дешёвым не бывает, — соглашается Робот.

И настолько неожиданно звучит его ответ на контрасте с окружающим

интерьером, что меня скручивает истерический хохот, и Витьку скручивает, и Аллу, и даже взрослую мать Людмилу. Не в силах прервать весёлую с призывом истерику, Сорокин только согласно машет водителю рукой: дескать, пользуйся, мне для такого знатока никакого «Лагерфельда» не жалко!

Не обращая внимания на подорванную публику, Роберт невозмутимо наливает в стакан на два пальца чуть маслянистую жидкость, добавляет кружкой из ведра колодезной воды, тщательно размешивает мутно-белый коктейль чайной ложкой. В избу с избыточными парами французского аромата с улицы возвращается Финн, сразу смекает суть дела, подставляет водителю свой пустой стакан, спрашивает:

— Кто-нибудь ещё оттянется?

Алла с Людмилой отказываются, а Витька присоединяется к дегустаторам: зря он, что ли, сюда вёз дорогой французский парфюм? Вопросительно смотрит на меня.

Нет, не стану. Прошлой весной наш с Сорокой одноклассник Юрка Погодин, поступивший в медицинский, позвал меня к ним в общагу отпробовать крольчатины. Взяли два портвейна, прибыли к означенному сроку. Главный кулинар комнаты принёс из кухни большую кастрюлю, водрузил её в центр стола и торжественно снял крышку... Более тошнотворного химического запаха я не ощущал ни разу в жизни.

Оказалось, что кролик ещё утром радовался судьбе в клетке на кафедре нормальной физиологии. А потом на лабораторном исследовании в юркиной группе его усыпили медицинским эфиром, препарировали и чего-то там в живом организме изучали, какие-то там рефлексy, что ли. А потом Юрец, пользуясь давним расположением лаборантки, выпросил отработанный материал для вечно голодных в мутное нынешнее время иногородних одnogруппников. Так и возникло в комнате общежития медицинского института блюдо из тушёной в эфирном соусе крольчатины.

И ничего, и сметали за милую душу это сомнительное мясо привыкшие к повсеместному запаху формалина в анатомическом корпусе будущие доктора и докторицы. А я не смог, такой уж у меня оказался нежный организм, насытился исключительно принесённым по случаю портвейном.

Так что одеколон тоже, пожалуйста, без меня. А я, наверное, пойду прилягу на койку отдохнуть от чрезмерно долгого сегодняшнего выходного дня...

Но кто сказал, что день уже закончился?

— Там к дебаркадеру пароход какой-то большой швартуется, — сообщает Финн, закусывая «Лагерфельд» давно остывшей жареной говядиной и застав этой благой вестью меня в дверях спальни. — Пошли посмотрим?

— «Патрис Лумумба», по всему, — разъясняет ситуацию Людмила Мешкова.

— Сверху, с Зареченска идёт. Часа два простоит здесь. Там буфет с пивом есть. Роберт Мухамедзянов уже натягивает свои болотники, Алла с матерью приглаживают волосы у зеркала, Сорока тоже надевает куртку. Ну да, какое-никакое развлечение. Я тоже раздумал спать — лучше посмотреть, как там что внутри круизных речных лайнеров устроено.

Уже на крыльце, закрывая ключом навесной замок, спрашиваю у прикуривающего сигарету сварщика:

— Финн, а кто такой Патрис Лумумба, ты знаешь?

— Знаю, — отвечает. — Негр.

На дебаркадер по сходням с натугой закатывают полную бочку соляры Ефим Егорович с бригадиром Мелешко. На берегу стоят ещё две: получается, три бочки привезли сегодня со стройки Финн с Роботом, что ли? Тяну за рукав Вовку, киваю на сверх лимита украденное дизтопливо, ничего не говорю, просто жду.

— Да не грузись, начальник, — весело щерится сварной. — Ещё за две Бракоша хрустом рассчитался. При гостях негоже деньги делить, вечером распилили бы по-честному. Зуб даю, ну... Эй, посторонись, православные! Давай, молодёжь, впрягайся помогать старшему поколению! Покатили, покатили!

Ну и загрузили мы эти бочки на круизный теплоход «Патрис Лумумба», а дальше уже матросы покатили их куда-то в сторону кормы, подальше от чистой туристической публики.

Ефим Егорович отошёл в сторонку с высоким подтянутым человеком в нарядной форме и белоснежной фуражке — с капитаном, может быть, или с другим каким здешним начальником. Тот забрал у него тяжёлую китайскую челночную сумку, отправился по лестнице с лакированными перилами на верхнюю палубу.

— Ну что, Бракоша, порядок? — суется Финн. — Тогда пиво с тебя на всю честную компанию.

Ефим Егорович оглядывает наш разношёрстный творческий коллектив, указывает пальцем на женскую его часть:

— На вас, шалав, тратится не буду. Домой иди, Людка, нечего вам тут.

И так убедительно это у него прозвучало, веско, что открывший было рот Финн, почёл за благо не возражать. А старшая Мешкова, ещё больше потемнев иконописным лицом, лишь сказала:

— Куркуль ты, Ефим, так куркулём и помрёшь.

Взяла за руку Аллу, вышли на дебаркадер, независимо уселись на лавочку, закурили. Низкая большая луна проложила широкую светлую дорогу через всю Обь от Старого острова прямо до «Патриса Лумумбы». И мы, серьёзные мужчины, идём по чуть качающейся теплоходной тверди под яркими огнями палубного освещения на звук музыкальных ритмов итальянской эстрады.

В полутёмном помещении под хриплую мелодию Челентано разноцветные музыкальные фонари по очереди выхватывают то две танцующие пары, то блестящую никелем с полированным деревом стойку бара, то столы с расслабляющимися пароходными туристами.

Стол, правда, большей частью свободные: за одним шумная компания отмечает какой-то праздник шампанским, чествуя даму в широкополой жёлтой шляпе, за другим двое негромких мужиков в спортивных костюмах «адидас» потребляют коньяк под нарезанный дольками лимон и бутерброды с красной икрой, в углу пятеро солдатиков питаются овощными салатами, аккуратно разливая под столом водку в стаканы из-под чая.

Цены здесь, понятно, конские и любой нормальный человек затарился бы спиртным в Зареченске на весь двухнедельный туристический маршрут, чтобы не переплачивать вдвойне, а то и втройне за алкоголь в баре. Ну, если ты, конечно, не новый русский, каким непременно хочет стать Сорокин в ближайшие два, ну пусть, три года.

А так прилично здесь, тепло, уютно. Пиво, опять же.

Бармен в чёрной бородке клинышком и голубой рубашке с большой золотистой бабочкой вежливо интересуется:

— Выпить желаете, закусить? Могу предложить меню.

— Не надо меню, — останавливает ненужный сервисный разговор Ефим Егорович. — Шесть пива, «жигулёвского».

— С собой или открыть?

— Открывай.

— Одну не открывай, — тормозит работника речного общепита Коровник, он же бригадир Мелешко. — Я домой, Ефим, «Санта-Барбара» сейчас начнётся.

— Как угодно, — соглашается бармен, выставляет на стойку «жигулёвское». — Только у нас расчёт сразу.

Кивает на табличку, где написано «В баре «Чайка» действует правило предоплаты. Спасибо». Ну, действует так действует. Бригадир уходит на берег, по пути засовывая в карман штанов холодное запотевшее пиво.

Бракоша рассчитывается, забираем бутылки, усаживаемся за пустой столик, накрытый скатертью в красную клетку, рядом с военными. По эмблемам определяю стройбат, в торце стола спит, положив голову на сложенные руки, прапорщик с большими прозрачными ушами. Эти, понятно, не туристы: в Стрижевой едут, там большое военное строительство идёт, в местных новостях с весны про то говорят.

— Может, это, — Финн ставит на стол опустошённую в два приёма бутылку пива. — Выставишь нам по случаю удачной сделки ещё пузырь водки, Бракоша?

— Обойдётся, я вам сегодня и так сверх меры отвалил, гуляйте на свои, — Ефим Егорович встаёт. — Ладно, отдыхайте тут дальше. А мне с капитаном нужно ещё переговорить.

Надевает лежащий на свободном стуле брезентовый дождевик, в дверях бара сталкивается с входящими в храм вечного пароходного праздника Аллой и Людмилой, неприязненно качает головой, уходит. Подруги нашей сегодняшней жизни присаживаются за столик, Людмила разочарована:

— Пива нисколько не осталось?

— Так мы сей момент! — оживляется Вовка. — Неси-ка сюда меню, Подсвинок! Один раз живём — правда, начальник? Угостимся с барышнями по самое не хочу. Чего там эти деньги-то жилить с двух бочек оставшихся? Деньги — пыль! Оттянемся культурненько на пароходе перед новыми трудовыми свершениями.

— Сам ты свинья, — привычно отзывается Витька, уходит, возвращается с меню.

Финн благородно придвигает его дамам:

— Всё что угодно на ваш выбор! Выпить-закусить как за здравье. Начальник не возражает — так, Граф?

Я не возражаю. Мне здесь по-городскому уютно, век бы так сидел.

Мешкова-старшая показывает Вовке строчки в меню:

— Давай вот это и вот это, да?

Милая девушка Алла в выборе карты вин не участвует, она отвернулась прикурить у военных и теперь болтает вполоборота с восточного вида ефрейтором строительных войск.

Финн на кураже, Финну сегодня Обь по колено, он в меню и не смотрит:

— Петюне покажи, мне пофиг. Сходи, Граф, оформи заказ девушек.

Возвращаясь к стойке, объясняю бармену, что мы желаем водку «Абсолют» ноль семь, три пива «Гиннесс» и двухлитровую «кока-колу».

— И закусить чего-нибудь на всех, начальник! — кричит из-за стола вольный

человек карельской национальности.

— Шесть антрекотов с картошкой фри? — понимающе уточняет бармен. — Ждать пять минут, уже почти готовы.

— Ну, раз готовы.

Человек за стойкой мгновенно выставляет на поднос красивую бутылку шведской водки, шесть рюмок, дополняет натюрморт тремя бутылками пива.

Но придерживает поднос пальцами, кивает на строгую табличку.

Иду к Финну, объясняю насчёт предоплаты. Алла уже сидит за столом военных, которые большей частью общаются между собой на гортанном нерусском языке. Ефрейтор приобнял девушку ладонью, тыльная сторона которой покрыта чёрными волосами до крайних фаланг пальцев.

Возвращаюсь к бармену с дешёвым, но плотно набитым портмоне Вовки, отсчитываю требуемую сумму, после чего там остаются три жалкие купюры.

Протягиваю их речному общепитовцу:

— На «Лонг-Айленд» хватит? — единственный коктейль, который мне нравится из новомодных.

Бармен прибирает деньги, кивает:

— Изладим. Три минуты.

Я отношу поднос на столик под одобрительный шум компании, докладываю, что антрекоты подадут через пять минут, но деньги уже закончились.

— Не парься, Петюня, говно вопрос, решим по-любому, — успокаивает Финн, разливая по рюмкам водку.

Алла заинтересованно возвращается за наш столик, но настойчивый ефрейтор продолжает тянуть за руку её обратно. Милая девушка как бы в шутку, но крепко бьёт его по волосатой лапе.

Финн разливает по рюмкам «Абсолют», даёт старт:

— Ну, поехали! — и сразу же запивает водку пивом, поясняя по ходу. —

Прокладочку сделаем... Так, ждите горячее, а мне нужно с Бракошей перетереть. Вернусь через три минуты.

Ловлю взгляд бармена, который кивает на выставленный на стойку высокий бокал, красиво наполненный разноцветными слоями коктейля «лонг-айленд».

Усаживаюсь на высокий мягкий стул у стойки, делаю глоток мятно-ароматного напитка.

— За горячее рассчитаемся? — бармен принимает из окна на кухню тарелки с антрекотами.

— Сейчас товарищ деньги принесёт.

— Этот? — бармен кивает на направляющегося к стойке Сороку.

— Нет, другой. Вышел, сейчас вернётся. Да ты не переживай, мы люди надёжные.

Речной ресторатор с сомнением выставляет на стойку антрекоты:

— Восемь пятьсот с вас. Пусть кто-нибудь здесь посидит, пока деньги не принесут.

— Сейчас тарелки отнесём, вернёмся. Не с собой же мы мясо с картошкой умыкнём.

— Ну, давайте.

Выставляем горячее блюдо на стол. Алла с трудом покидает компанию шумных военных, Робот с сомнением смотрит на завернутые в салфетку нож с вилкой, достаёт из кармана свою потёртую финку, режет мясо, ловко закусывая антрекотом с картошкой водку в быстро пустеющей бутылке. Мы с Витькой, как честные люди, возвращаемся под досмотр бармена.

— Через сколько отправляетесь, Антон? — интересуюсь, разглядев, наконец, имя работника общепита на бейдже.

— Полчаса есть у вас. Только давайте как-то поспокойнее себя вести.

Отхлёбываю коктейль, оборачиваюсь вместе со стулом назад. Стройбатовцы опять пытаются лапать милую девушку Аллу, она пересаживается поближе к Махмуду. Старшая Мешкова надеется уgomонить военнoслужащих крепким северным матом — на какое-то время удаётся.

В компании праздных туристов уже никто не танцует под мелодии и ритмы зарубежной эстрады, звезда общества в жёлтой шляпе косится в нашу сторону с отчётливой гримасой брезгливости на ярко накрашенных губах. Серьёзные мужики в спортивных костюмах покидают бар в направлении лестницы (или трапа?) на верхнюю палубу, прихватив с собой недопитый коньяк. А Вовки всё нет и нет. Меня терзают смутные сомнения.

— Дай попробовать, — Сорокин отворачивается к залу с мигающей светомызыкой спиной, тянет руку к коктейлю.

— На, — придвигаю к нему бокал.

В зеркальной стенке из-за ряда бутылок с яркими этикетками возникает фигура в военной форме. Фигура кладёт нам на плечи руки с волосатыми пальцами:

— Здорово, пацаны.

— Ну, здорово, — поворачиваюсь обратно фейс ту фейс к к тому самому активничающему в отношении Аллы ефрейтору.

Про неё и разговор.

— Хорошая девушка, — кивает на Аллу военный. — Вы оба у неё кавалеры, да? Вежливо спрашивает, с улыбкой. Только акцент у него не по-хорошему восточный, точь-в-точь как у Эдиля Шамшилова, чеченца из параллельной группы.

— Допустим, — говорю я, не дождавшись ответа от Сороки.

За спиной ефрейтора раздухарившиеся стройбатовцы уже вновь затащили Аллу за свой стол: один подносит ей стакан ко рту, другой держит за руки.

— Витя, Витя! — милая девушка Алла Мешкова мотает головой из стороны в сторону, голос по-настоящему испуганный.

Витя усиленно изучает меню. Бармен Антон уходит в кухню, что-то громко там объясняет, возвращается, кладёт на стойку тяжёлый металлический молоток для отбивки мяса. Компания праздных туристов торопливо втискиваются на уходящую куда-то за потолок лестницу с деревянными лаковыми перилами. Военный кавказец по-прежнему вежлив:

— Так мы попользуемся девушкой, вы же не против? До Стрижевого с нами доедет, там денег на обратную дорогу дадим, на «метеор» посадим. Честное слово даю.

Сорокину решать, не мне. Я здесь практически посторонний. Но Витьке в меню интереснее.

— Ты чего молчишь-то? — вдруг непослушным голосом спрашиваю у Сороки. Бармену, похоже, тоже любопытно.

— Да мне-то что? — нервно отвечает зеркалу за барной стойкой Витька. — Если она не против, так пусть плывёт.

— Хорошо сказал, мужчина, — кавказец достаёт из кармана две купюры, засовывает Сорокину в карман. — За беспокойство.

У Витьки только голова чуть вдавливается в плечи. Антон протирает бокалы каким-то ослепительно белоснежным полотенцем. Рядом с сорокинским локтем на стойку приземляется жирная чёрная муха. Из динамиков льётся песня Тото

Кутуньо «Серената». Ефрейтор дружески хлопает меня по плечу, чуть останавливает взгляд на затылке Сороки, разворачивается и идёт к землякам-сослуживцам.

И если бы не этот взгляд — короткий, понимающий, если бы не эта его чуть кривая, едва мелькнувшая усмешка, наверное, ничего бы и не было. Но теперь то уж что? Теперь уж что есть, то есть.

С усилием вынимаю из сжатого кулака Витьки бокал, одним глотком допиваю коктейль. Голова Сороки только плотнее вжимается в окаменевшие плечи. Поворачиваюсь к залу, встаю с высокого, такого мягкого, приятного барного стула. Вижу, как Роберт выливает себе в рюмку из бутылки остаток «Абсолюта», вижу, как вставший из-за своего стола высокий кавказец вытирает расцарапанную в кровь Людмилой Мешковой щёку, с размаху бьёт её тыльной стороной ладони, вижу, как чуть подрагивают прозрачные уши так и не проснувшегося стройбатовского прапорщика. В голове зачем-то вспыхивают финальные слова Куваева из этой чёртовой книжки «Территория»: «Где тогда были вы? Довольны ли вы собой?» Объяснявшийся с нами ефрейтор уже подошёл к Алле и облапил её сзади, зажимая рот, пытающийся опять позвать моего друга Витю Сорокина. Бармен молча придвигает мне по стойке красивый металлический молоток.

Я иду, передо мной вырастает спина этого презрительно-вежливого кавказца, удерживающего извивающуюся в руках солдат милую девушку Аллу Мешкову. И совсем уже близко качается его бугристый, заросшей густой чёрной щетиной затылок, но в последний момент занесённую руку тормозит мысль «убьёшь!», и молоток опускается на спину презрительного ефрейтора. И успевает опуститься ещё раз.

Речная вода приятно охлаждает тупую боль в носу, стекает из ковша за шиворот, бодрит. Окружающий мир ещё не в фокусе, он странно подрагивает, но из этого мутного мерцания уже выплывает лицо Ефима Егоровича со вполне себе разбитой и вспухшей верхней губой. Он что-то спрашивает, но из отдельных звуков смысл слов складывается плохо. Тогда человек, ещё утром учивший меня разжигать под дождём костёр, внезапно с размаху выплёскивает в физиономию остаток воды из ковша. Фокус настраиваются, возвращаются звуки — вначале близкого плеска обской волны, затем шума и криков из недр круизного «Патриса Лумумбы» и, наконец, до мозга доходит простой вопрос: — Ты как, Петька? В сознание пришёл? На ноги встать можешь?

Киваю: пришёл, куда я денусь-то. Встать? Ладно, попробую.

— Тогда, значит, бери его, парень, и веди домой, — Ефим командует Сороке, на чьих коленях, оказывается, лежит моя голова на берегу у дебаркадера. — Там морду ему от крови отмоешь, и лёд из морозилки наскреби, к руке его примотай тряпкой какой-нибудь вместе с обрезком доски поуже. Как бы не перелом там приключился. Ты вроде цел-целёхонек, справишься... И давайте пошустрей от здешней заварухи, не нужно вам тут.

Витька кое-как помогает мне встать, а Ефим Егорович быстрым шагом торопится через дебаркадер обратно в скандальный шум речного лайнера.

— погоди, — останавливаю его. — Я спросить всё хотел: а зачем соляру на пароход вы загрузили-то? Никак не соображу.

И сам удивляюсь дурацкой актуальности вопроса. Да и Ефим в некотором оторопении:

— А тебе не всё равно? Ладно, как ушибленному головой объясняю: брат у

меня в Стрижевом три КамАЗа держит, груза в навигацию развозить по району. С ним потом и сочтёмся. А цена доставки — ведро стерлядки для капитана. Всё, удовлетворён? Шагайте, некогда мне тут с вами.

В избе за столом сидят Эдуард и ещё два незнакомых мужика. На столе прибрано, культурно закусывают водку «Smirnoff» говядиной со сковороды.

Прораб молча смотрит на нас, потом интересуется:

— И где вы тут, работнички, в Лесе шпану нашли, которая тебя ряшку начистила?

— Не тут, — докладывает Сорока. — Это ему на пароходе прилетело, на «Патрисе Лумумбе».

Пока смываю засохшую кровь одной рукой под умывальником, Витька вкратце излагает своему дядьке приключение с мордобитием. Тот усаживает меня за стол, представляет сотрапезников:

— Николай, бульдозерист. А это Василий, мы на его тягаче бульдозер на стройку привезли, завтра обратно в город поедет... Клади сюда руку, показывай. Пальцами пошевели.

Кисть здорово распухла, а пальцы вроде шевелятся, но прораб всё равно даёт команду:

— Коля, стругани там во дворе дощечку, чтоб от его локтя до конца ладони. Топор в колоде... А ты, Василий, тащи аптечку из кабины. Есть у тебя? Ну вот... Не нравится мне твоя рука, Петя, шину сейчас наложим. Чем это тебя так?

Я совсем не помню, а Витька поясняет:

— Это когда его там пинали, один длинный сапогом на ладонь прыгнул.

— А ты где был, племяш? Со стороны наблюдал, чтобы ничего не пропустить?

— Да я не успел просто, — Сорока вдруг краснеет, прячет глаза в стол, придвигает пустой стакан вернувшимся со двора бульдозеристу Николаю для наполнения его водкой, но Эдуард не позволяет.

— Хватит им на сегодня, — крепко приматывает бинтом снизу к руке шину, спрашивает: — Лучше так?

Киваю: вообще отлично, и не болит уже совсем почти. Только голова чуть кружится.

— Ладно, ты ложись сейчас, Витя за тобой присмотрит. А мы пойдём поищем этих двух старых козлов, Финна с Роботом... Три, говоришь, бочки солярки пустили налево? Вот бесы, чистые бесы...

Распахивается дверь, в комнату врывается растрёпанная милая девушка Алла Мешкова. Тормозится на пороге растерянно:

— Ой, здрасьте. Я только ребят проведать, из-за меня же там всё получилось.

— Ну, проведывай, — почти не удивляется Эдуард. — Хрень какая-то... Пошли, мужики, поглядим, что там на пароходе.

И как только за ними закрылась дверь, Алла бросается... Нет, не ко мне, к Сорокину, ясен пень.

— Ты цел, Витя? — ощупывает его голову, прижимает к себе. — Я так волновалась.

Сорока испуганно отстраняется:

— Не надо, ты чего? Мне вот с ним сейчас нужно сидеть: видишь, целую шину на руку наложили. Ты иди сейчас, Алла, некогда мне.

Милая девушка быстро кивает:

— Иду, иду. Я у мамки на пять минут с «Лумумбы» отпросилась. Там такое сейчас творится...

— Иди, Алла, иди, — Витёк берёт девушку за плечи, практически выталкивает её за дверь. — Завтра поговорим, завтра.

На всякий случай запирает дверь на крючок, возвращается за стол, достаёт из холодильника водку, наливает в два стакана:

— Давай за то, что хорошо кончается.

Чокаемся, но алкоголь в меня совсем уже не лезет, тошнит. Ставлю стакан обратно на стол. Витька закусывает мясом, опять смотрит в стол, выдавливая из себя:

— Я бы тоже с тобой пить не стал в таком раскладе, — складывает обе руки подмышки, как будто замёрз на ветру. — Ну вот прижало меня там к стулу будто бетонной плитой — ни встать, ни шагу не сделать, понимаешь? Там тебя эти чёрные уже в коридоре пинают, а я как к стулу прирос. И Махмуд, главное, сидит, не вмешивается... Только когда Бракоша прибежал, а за ним команда пароходная подтянулась, тогда только с места смог сорваться. А там уже и делать нечего было, только вот на берег тебя вытащили, водой сбрызнули — гляжу, в себя пришёл. Обрадовался, не поверишь как!.. Такие, значит, дела. Ерунду какую-то говорит Витька. Не до того.

— Да я не потому, — киваю на отставленный стакан. — Не могу, не лезет больше. И в башке всё плывёт.

— Так у тебя сотряс, наверное, — опять пугается Сорокин. — Тебе лежать нужно, и Эдуард то же самое сказал. Пошли, до кровати тебя провожу.

— Пошли, — пока перебираемся в спальню, за окном взывает сирена и комната на секунды озаряется синим тревожным светом.

Я раздеваюсь, залажу под одеяло. Витька отодвигает занавеску, выглядывает на улицу:

— Три ментовских машины к дебаркадеру покатили. Стройбатовцев этих вязать, что ли?

— Не знаю, пофиг мне. Сходи, потом расскажешь. У меня чего-то глаза слипаются.

— Ага, сейчас схожу, — но вместо того Сорокин садится мне в ноги, выдавливает из себя. — Прости меня, Петя. Ты герой сегодня получился, а я подонок. Теперь мне как-то с этим жить. Можешь не прощать, я пойму.

— Да ну тебя, дурака. И прощать тут нечего, это я психанул. Всё мирно разрулить можно было... Короче, я тебя прощаю, только ты мне обещаешь прочесть до конца «Территорию», ладно? Там правильно всё разложено.

— Обещаю, — Витька расчувствовался, кулаком глаза вытер. — Друзья?

— Друзья, — комната кружится, хочется быстрее закрыть глаза. — Шагай, надоел. Только ведро мне принеси, поставь здесь. Тошнит. Сколько времени?

— Одиннадцать почти. Сейчас.

Сорокин метнулся на кухню, принёс ведро, поставил в изголовье. Шмыгнул носом, ушёл.

И меня сразу вырвало. И стало легче. И я заснул.

— Проснись, Петя, — на кровати сидит Эдуард, чуть трясёт меня за плечо. — Ты как, в норме?

Я вообще в норме: голова ясная, рука не болит, нос только.

— Утро уже? — спрашиваю прораба, одновременно соображая, как мне теперь одной рукой с лопатой обращаться.

— Ночь, без пяти двенадцать. Там с тобой поговорить хотят, сможешь в кухню выйти?

Почему-то приходит фантазия, что поговорить со мной хочет девушка Алла Мешкова, не всё же ей с Сорокиным говорить.

— Кто?

— Милиция.

— Из-за драки, что ли?

— Если бы, — прораб помогает мне натянуть штаны. — Домой с утра поедете с Витькой на тягаче Василия. Там в травмпункт сразу иди, пусть снимок сделают. Деньги потом в Зареченске передам, много не заработали, сразу предупреждаю.

— А стройка как же?

— Никак. Начудили эти черти, теперь не до стройки.

— Какие?

— Финн с Махмудом, какие ещё. Теплоход захватили, кухню с барменом в заложники взяли. Требуют десять кораблей шмали и миллион рублей денег. А потом на «Патрисе Лумумбе» собрались идти до Аляски... Что вы тут пили-то, чтобы до таких чудес они догрузились?

— Так самогонку же, потом «Абсолют» на пароход... А, вспомнил: они ещё Витькин одёколон выпили, «Лагерфельд».

— «Лагерфельд», значит. Смотри-ка, какой с него приход... Готов? Пойдём. За столом сидит человек в милицейской форме с вынутыми из кожаной папки какими-то протоколами. Поднимает голову от заполнения бумаг, представляется:

— Старший лейтенант Молодцов, — кивает на стул. — Присаживайтесь. Лазарев Пётр Вадимович, 1973 года рождения?... Время начала опроса свидетеля 23 часа 59 минут... Расскажите о том, когда и с какой целью вы пришли в бар «Чайка» круизного теплохода «Патриса Лумумба» вместе с Робертом Мухамедзяновым и Владимиром Кейкой?

Ответить я не успеваю, потому что перед глазами вдруг возникает таймер, отсчитывающий текущее время: 2050-й год, 21 августа, 12 часов, 45 минут, 13 секунд, 14 секунда, 15 секунд...

Стандартное возвращение домой из давно забытого прошлого. Всё как обычно. Пора вставать с лежбища.

Глава 6. Довольны ли вы собой?

У рабочего стола Клепсидры сидит к ней боком незнакомая мне женщина приятной седой наружности. Моложе меня лет на пять-семь, хотя кто сейчас разберёт их возраст — может, и постарше на столько же.

— Вот, знакомьтесь, Пётр Вадимович, — расплывается в доброжелательности хозяйка мнемория. — Новая постоялица теперь у нас, Анастасия Макаровна. Вчера только поступила.

Постоялица чинно протягивает руку для знакомства, объясняет:

— Я сразу сюда решила: думаю, чего время тянуть? Пообедала — и прямо сюда. Мне соседка по даче Вера Михайловна давно уже про мнемоническое лечение читала из медицинских новостей: очень хвалят учёные этот передовой метод, очень, говорят, помогает при нашей с вами умственной несостоятельности. А вы ощутили уже на себе пользу погружений, Пётр Вадимович?

Да откуда я знаю? Кто же фиксирует уровень деменции после посещения мнемория? Это ж не давление измерить после таблетки капотена, таких приборов ещё не придумали. А может, и придумали, за всем не уследишь.

Неопределённо качаю головой, спохватываюсь:

— Обед-то уже заканчивается, оказывается. Поспешу, а то пока доковыляю до столовой, остынет всё.

— Ну, с богом, Пётр Вадимович. А вы со мной пойдёте, Анастасия Макаровна. Покажу вам всё, расскажу, как у нас тут что работает. Волноваться не нужно, пойдёте, милая, пойдёте...

Ковыряя действительно остывшую котлету за обеденным столом, докручиваю в памяти ту давнюю странную историю, которую показало мне нынче чудо китайской медицинской технологии.

А главное, зачем показало? Что там особенно важного случилось в этом дурацком пристанском посёлке Лес, что мне обязательно нужно было вспомнить для стимуляции старческой мозговой деятельности? Драку эту идиотскую? Анекдотический захват «Патриса Лумубы» Финном с Роботом, которых менты повязали под утро, подсыпав лошадиную дозу снотворного в вытребованную террористами бутылку французского коньяка «Наполеон»? Нелепую деревенскую девку Аллу Мешкову? Не понимаю.

И зачем я тогда за эту дуру вписался? Ну, глупость же детская. Витька мудрее оказался, его потом по ментовкам никто и не таскал.

Правда, и челночный бизнес у Сороки не задался: после первой же поездки в Турцию, таксист из аэропорта доставил его прямиком на хату бригады, промышлявшей на грабеже челноков. Хорошо, живого отпустили, хоть и без товара.

Челноки всегда за свободной лучшей долей: хоть тогда Сорокин, хоть теперь маскианцы эти нынешние. Но за всё нужно платить, тут уж как водится.

Долги Витька отбил за год, каким-то чудесным образом втесавшись в бригаду напёрсточников, крутивших шар на том же Тихомировском рынке. Вначале маячил, потом поднялся до верховья, а через пару лет повышения профессионального мастерства уже допускался к работе низовым.

Доводилось пару раз наблюдать его филигранные выступления, когда юноша волне интеллигентного студенческого вида сидел на раскладном стульчике над большой картонкой, лежащей на грязном асфальте, и голосом базарного зазывалы кричал: «Хорошее зрение — высокая премия!». И разбираал лохов до последней копейки.

Потом народ окончательно поумнел, и напёрсточники быстро вымерли как класс. Но Сорока к тому времени сумел выйти из чистого криминала через серьёзную сумму отступных, а оставшимися деньгами вложил в небольшой магазин рыболовных товаров напололам с Рубеном Бесогоном. Так понемногу и поднялся от низового до солидного бизнесмена. И если бы не война за освобождение Украины, мог бы и в депутаты податься — были у него такие планы. Но сбежал из России, релоцировался, как тогда говорили, туда ему и дорога.

И если вспомнить, никогда с того самого случая на «Патрисе Лумумбе» Витька ни разу больше не сдешевил, никого не сдал, в любую драку вписывался первым. Деньгами меня выручал по первой просьбе, сам про долги ни разу не напоминал, даже если ждать приходилось не обещанную неделю, а пару-тройку лет.

А я с тех пор ни разу и не дрался всерьёз. И, кажется, никого не спасал, кроме поэта Ворогова... Впрочем, себе-то хоть не ври, не позорься ещё хуже того, кем был тогда в вонючей донецкой придорожной канаве. Не спасал ты Ворогова,

сдешевил, как всегда.

Но это была вовсе не трусость, а трезвый прагматичный расчёт. Никто бы не узнал о героической смерти поэта, если бы не осталось выживших. А так теперь есть в Зареченске улица Ворогова, школа его имени, литературные Вороговские чтения.

Каждый должен действовать не в своих интересах, не геройствовать напрасно, а работать на государственный патриотизм, на воспитание героизма в подрастающих поколениях. А не эта вот глупость: «Делай или умри!»

Так и добрался в мыслях о правильности прожитых лет до своей отдельной палаты. Теперь нужно достать большую толстую тетрадь, озаглавленную «Жизнь как пройденное поле». И записать верное, точное ощущение, пришедшее из того стародавнего посёлка Лес, где жила разношёрстная бригада шабашников, строящих нефтебазу, где были девушка Алла и её мать Людмила Мешкова, где швартовался этот, как его, который по реке плавает... Водоход? Рекоход? В общем, «Патрис Лумумба».

Чем дальше от сегодняшнего дня, тем чётче работает память. Вот, одно лишь слово забыл сейчас — «теплоход». Может, и впрямь работают хваленые докторами мнемонические погружения? Ладно, не до них сейчас.

«Мне уж недолго осталось тянуть свой бранный путь. Почему-то вспомнилась сейчас трудная студенческая юность, пришедшаяся на те самые проклятые 90-е годы прошлого столетия. И вспомнилось мне, что тогда, в то время дикой карикатурной свободы очень популярна была книжка писателя Олега Куваева «Территория». Там прославлялась несчастная романтика дальних дорог, неоправданно тяжёлый, каторжный, по сути, труд якобы вольных людей. Там везде ощущался неприятный запах той самой нерегламентированной свободы, которая ввергла потом нашу страну во времена тяжёлых испытаний.

И я не удивлюсь, если сегодня эта книжонка и снятый позже по её мотивам фильм до сих пор существуют на каких-нибудь электронных ресурсах. Почему-то мне кажется, что они до сих пор не включены в реестр вредной для детей и юношества литературы. Даже боюсь проверять.

И если это так, если прожитая жизнь нашего поколения не заставила вас зачистить окончательно информационное поле от так называемого культурного наследия тех трагических лет беспросветного индивидуализма и бессмысленной свободы, то я вправе спросить: «Где были, чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой?»

Закрыть тетрадь. Что-то тошнит меня сегодня.

Погружение пятое. Клепсидра

Жёлтый лист с нависающей над лавочкой берёзы красиво планирует нам с Берточкой под ноги. Вроде и холодов ещё не было, а деревья вокруг богадельни уже чуть подёрнулись осенним ржавым налётом. Впереди очередная долгая сибирская зима, переживу я её, нет? Сколько таких долгих зим осталось позади, пора и честь знать. Помирать страшно, когда тебе двадцать лет, тридцать, даже пятьдесят, а сейчас какой уж тут страх. Пришло твоё время, пора уже, пожалуй. Нет, не страшно, почти совсем...

— Пойду я, пап, — Берта смотрится в карманное зеркальце, проводит пальцами по лбу, безуспешно разглаживая редкие ранние морщинки. — Партсобранье

сегодня в пять по разъяснению постановления Синклита «О перспективах роста экономики Святороссии в условиях мирового кризиса зелёной энергетики».

Лектор придёт из общества «Знание», явка обязательна.

— Конечно иди, дочка, Сержику привет от меня передавай.

— Передам, только вот что, — Берта прячет зеркало, смотрит на часы, торопливо рассказывает. — Тут на днях у него телефон с утра зазвонил, я понесла мобильник к нему в спальню, случайно глянула на экран, а там прямо на виду ссылка на «Свободную Святороссию», представляешь? На это самое маскианское радио, которое на русском языке вещает!

— Ничего себе. Так-так-так.

— Разбудила его, телефон под нос сую. «Это что? — спрашиваю. — Нет, ты мне ответь, что это?». Радио, отвечает, музыку слушать, которая указом проэдра Строгова запрещена, говорит. Чего ты, говорит, психуешь? Все это радио слушают, если нормальную музыку в стране слушать нельзя.

— Ох, беда, — соглашаюсь с дочерью. — Музыка ему, значит, не достаёт? Беда.

— То полбеда, папа, — в глазах Берточки уже дрожат слёзы материнской обиды. — Беда за завтраком пришла, когда я ему уже всё высказала, как он свою семью этим радио позорит, как он им наших мальчиков, воевавших с маскианцами, оскорбляет. А он знаешь мне в ответ что?

— Даже думать боюсь, — а я ведь действительно боюсь думать после мнемория последнего, страшно мне бывает думать, стыдно.

— Ты как себя чувствуешь? — спохватывается дочь. — Побледнел лицом, сердце не давит?

Отмахиваюсь: причём тут сердце, ничего не давит, рассказывай дальше.

— Ну так вот, — продолжает Берта. — Заявляет он мне: а может, не нужна была вообще эта самая Сепарация? Оставались бы, говорит, у себя дома, никуда бы не лезли, жить никому не мешали. Может, и мальчики наши живыми бы остались, да и маскианцы тоже, они что не люди?

— Прямо так и сказал? — тут сердце что-то и впрямь чуть прихватило.

— Слово в слово. Я прямо и не нашлась, что ему ответить. Сказал «спасибо» за завтрак и ушёл в свой институт. А там они, оказывается, все подряд музыку маскианскую слушают. Ничего святого, ничего!

Берта опять достаёт зеркальце, убирает так и не выпавшие из глаз слёзы пальцами в ярко-красном маникюре, добавляет:

— Я тебя прошу, папа, он завтра к тебе придёт, ты уж ему разъясни всё по-мужски, как ты умеешь, ладно? Он только тебя ведь и слушается... Всё, побежала, опаздываю.

Дочь спешит к парковке таксидронов, а мне прямо сейчас, срочно нужно в этот, который назад отправляет — ладно, неважно: понять, где же я упустил Сержика, что же ему недообъяснил, если уж в нём сейчас гниль такая прорастает. Нешуточное дело, совсем нешуточное. Ох, беда на мою стариковскую голову! Выходит, помирать мне рановато, ждут меня ещё дома дела.

Тороплюсь как могу через холл первого этажа. Лёва Топильский поднимает голову от своих шахмат, спрашивает:

— Партейку, Петя? Или ты опять в мнеморий свой дурацкий направляешься?

— В него, Лев Евгеньевич, в него. Извини, времени нет.

— Времени у нас с тобой, Пётр Вадимович, нынче полные карманы, — неожиданно со злобой отвечает шахматист этот дряхлый. — Только кому его на

дурацкие воспоминания тратить, а кому головой работать. Ступай-ступай, ретивый гробокопатель собственной памяти... Нет, стой, я тебе анекдот старинный расскажу.

Ладно, пусть расскажет, ему проще дать рассказать, чем не дать.

— Ну, слушай. Помер человек, проживший долгую значительную жизнь. Похороны были у него пышные: оркестр, почётный караул, ордена на специальных подушечках, все дела. И значит, просит он на небесах объяснить какого-то важного клерка вроде архангела, в чём был смысл его земной жизни. Архангел нехотя отрывается от заполнения каких-то там анкет, начинает объяснять:

— Помнишь, ты ехал молодым специалистом в вагоне-ресторане поезда Новосибирск — Иркутск?

— Вспомнил сейчас.

— А за соседним столом обедали мужчина и женщина, помнишь?

— Помню.

— И женщина попросила тебя передать ей солонку.

— И я ей передал. Помню.

Архангел удовлетворенно погружается обратно в свою бюрократию, бросает назойливому посетителю:

— Ну и вот.

Топильский смеётся, давая понять, что анекдот закончен, удивляется:

— До тебя не дошло, что ли?

Не отвечаю, не до того.

В мнемории ничего не изменилось за месяц, что я в нём не был: и Клепсида Матвеевна на месте, и шкафчик с мнемонаушниками, и цифровое табло с отсечкой текущего времени бытия.

— Запыхались-то как, Пётр Вадимович, — замечает моё нервное состояние физиотерапевтическая медсестра. — Всё бегаете, как молодой. Ну так вы и не старый вовсе, какие ваши годы, можете себе позволить. А всё же посидите, ровного дыхания вместе с вами дождёмся. Нельзя под аппарат в волнении-то, не рекомендуется.

Действительно, успокоиться не помешало бы, что-то сильно я нынче разволновался. Нехорошо это в моём возрасте, неправильно.

Усаживаюсь на стул напротив хранильницы моих воспоминаний, объясняю:

— Край мне как сегодня нужно в сороковые погрузиться, когда внук Серёжа, считай, на моих руках рос. Недоглядел я за ним там, недовложил в него что-то. Разобраться бы мне сейчас.

— Все сюда за чем-то важным приходят, Пётр Вадимович, — успокаивает меня Клепсида. — Все хотят что-то понять в своём прошлом, да не каждому удаётся. И не исправить ведь прошлую жизнь, никак не исправить. Не придумали ещё такого исправительного аппарата.

— А хорошо бы, — вздыхаю я. — Да, Матвеевна?

— Не знаю, — с сомнением качает головой. — Как бы хуже не вышло, коли каждый начнёт своё прошлое править... А Илон этот Маск, слышали, опять в больницу попал на операцию, передают. Шансов мало, говорят, не выкарабкаться ему теперь уже.

— Тебе как будто жаль его?

— Все мы твари божьи, каждую тварь жалко... Ну как, отдышались? Ладно, пошли укладываться, разберётесь там со своим прошлым, если бог даст.

Мнемонаушники на месте, таймер перед глазами ведёт отсчёт: 2050-й год, восемнадцатое сентября, 15 часов 25 минут, 16 секунд, 17 секунд, 18...

Закрываю глаза, жду привычного погружения в утро, которое мне выдаст мнемоническая программа из тех многих дней прошлого десятилетия, так важного для меня сейчас. Но ничего не происходит.

Открываю глаза, цифры на пульте мигают: 15 часов 26 минут, 9 секунд, 10 секунд, 11 секунд. И тут таймер гаснет. Совсем. И я остаюсь на удобном лежбище мнемория в своём настоящем 2050 году. И никуда не погружаюсь.

Отодвигая шумную штору, заходит Клепсидра, садится рядом, вытаскивает из моих ушей мнемонаушники:

— Всё, Пётр Вадимович, закончилось ваше здешнее лечение, ничего не попишешь.

— Как закончилось, почему? — ничего не понимаю.

— Вы не волнуйтесь, так аппарат уж устроен. Давайте подниматься потихоньку, вот тросточка ваша ходульная. Пойдёмте, я всё объясню.

В оглушительном непонимании прохожу за Клепсидрой на её сестринский пост. Сажусь на неостывший ещё стул, наблюдаю, как она складывает не понадобившиеся мне нынче мнемонаушники в настенный шкафчик. Садится напротив, смотрит сочувственно:

— Ну вот так вот всё здесь устроено, Пётр Вадимович, кончились ваши воспоминания.

— Да как они могут закончиться?! — почти кричу я в неожиданной панике. — Мне семьдесят семь лет, у меня этих воспоминаний на десять человек хватит, я лишь в начальной стадии деменции, я всё помню, всё!

— Так я же не спорю, дорогой ты мой. Просто мнеморий выдаёт каждому человеку самое важное, что он должен помнить. А больше он не умеет, хоть молотком ты по нему стучи.

— И что, всего четыре важных воспоминания накопилось у меня за всю мою жизнь? — вспышку гнева сменяет горькая обида на бездушную машину. — Четыре за семьдесят семь лет?

Клепсидра только улыбается. Хорошо ей улыбаться, ей такого позорного финала жизни никто не предъявлял.

— Да что вы, Пётр Вадимович? Отличный у вас результат, лучший в нашей геронтологии — целых четыре погружения. Мне директор Иван Кириллович велел сразу ему доложить, если мнеморий и в пятый раз вас в прошлое отправит: это же выдающаяся статистика по всему региону. Из наших только у Льва Евгеньевича два погружения зафиксировано, а у остальных хорошо если по одному. Многим вообще мнеморий отказывают, ни одного не выдаёт.

На душе становится спокойнее. Оказывается, не всё со мной так уж безнадёжно. Уже почти успокоившись интересуюсь:

— А мировая статистика что нам вещает?

— Мировой рекорд Ирану принадлежит: там одна женщина четырнадцать

ь раз мнеморий заставила работать. А у нас, в Святороссии житель Перми одиннадцать погружений сделал. Молодой совсем, шестьдесят пять лет. Так что, не о чем вам страдать, Пётр Вадимович, всё с вами не просто хорошо, а отлично даже.

Меня озаряет азартная мысль по улучшению собственного рекорда мнеморического значения:

– Так можно же в других десятилетиях мои значимые воспоминания поискать. Я же не всю ещё свою жизнь исследовал. Давай, Матвеевна, ты меня в нулевые погрузишь или хоть в восьмидесятые, а?

– Никак не выйдет, милый ты мой человек, – сочувственно вздыхает Клепсидра. – Если уж таймер на сеансе погас – всё, вышел твой ресурс. Топильский, не верил, три раза приходил потом, заставлял погружение исполнить. Так не я же машиной командую, она сама всё решает. Ничего у Льва Евгеньевича не вышло, только зря себя расстраивал. Как мы сами свою жизнь устраиваем, такой нам результат мнеморий в итоге и выдаёт, чего уж тут теперь...

Ну что, голубчик, давай помогу тебе встать, до лестницы провожу. Привыкла я к вам, Пётр Вадимович, скучать теперь буду.

Вечером перед сном, отпереживав разлуку с мнеморием, вернулась мысль: что же теперь с Сержиком делать, как ему помочь? Он ведь такое чудесное маленьким пел, как там было-то: «Возьмём винтовки новые, вырасту солдатиком. Эх, вырасту солдатико-ом!» Хороший мальчик рос, правильный. Как же Берта за ним не доглядела? Вот же забота теперь. Ладно, мать упустила, значит, пусть коллектив поправит дело. Напишу, пожалуй, завтра в парторганизацию Серёжкиной академии, чтобы пропесочили старшие товарищи его по-дружески, наставили обратно на верный путь. А то так и до беды недалеко. Прислушаются, поди, к ветерану партии-то.

Пусть эта его ошибка отложится в память на всю оставшуюся жизнь, чтобы было что потом мнеморию предъявить. Потому что так нужно, Сержик, так нужно.

А теперь пора погружаться в сон. Нормальный сон, человеческий. Завтра будет новый день. Сколько там мне их осталось? Ладно, сколько ни е

сть, все мои, все в копилку памяти. Пригодятся потом.

Февраль-ноябрь 2025 года, г. Омск

